

84(2Рос=Рус)6

Н 37 К

Мухомов и Федя
и Давыдов В Васильев
и Тождунд - Н Понякина



НАШИ

РАССКАЗЫ



19.06.506

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА**

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.

Р21(С18)
Н-37

НАШИ РАССКАЗЫ

СБОРНИК
ПЕРВЫЙ

Муниципальное автономное учреждение
культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система»
ИНН 7204037883
Филиал МАУК «ЦГБС»
«Библиотека № 15 им. П.П. Ершова»
г. Тюмень, ул. Мисская, 98/3

С И Э ✓

22568 - 7

АЗКОН
Льва
Фабрика

ТЮМЕНСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1957

WILLIAM
W. WOODS

WILLIAM WOODS
W. W. WOODS
W. W. WOODS
W. W. WOODS



РАННИЙ СНЕГ

Занятия на третьем курсе шли вторую неделю. Было тепло и сухо, поэтому казалось, что лето ушло недалеко и все еще бродит где-нибудь за городом.

Леша Батуев смотрел в окно и думал, что хорошо бы сейчас сесть в автобус и мимо вокзалов, по широкому проспекту, уехать в лес. Лес стоит по обе стороны шоссе желто-красный от осин и берез. Когда проходишь сквозь них, разная шуршащие ветви, сухие листья бьют тебя по лицу и тут же падают...

Аудитория давно опустела. Черная поверхность столов отражала неяркое солнце. На полу — огрызки яблок. Даже пахло в аудитории по-осеннему — яблоками.

Домой Леше идти не хотелось. Да и какой это дом — чужая комната! Третий год чужая комната. Он давно бы переменил и адрес и хозяйку, но Леша уже не властен над собою. Прочно, как на якорь, держит его на немилой квартире хозяйкина племянница, которая там даже и не живет.

— Ты что сидишь? — раскрыв дверь, спросил его друг Костя.

— Да так, куда торопиться?

— А чертеж? Завтра сдавать. Ты сделал?

— Успею, — сказал Леша

Костя принялся насвистывать. Он делал это удивительно ехидно: губы трубочкой, черные глаза прищурены.

— Пойдем в кино, сегодня итальянская картина про любовь. Интересуешься?

— Пойдем, — согласился простодушный Леша, так и не понявший намека.

Но Костя на этом не успокоился. Всякий раз, оставаясь с другом, он старался подковырнуть его, вернее растормошить, как большого добродушного медведя. Впрочем, для сравнения с медведем Леша, пожалуй, был худоват.

— Ну-с, — начал Костя, — как поживает твоя хозяйка. В добром ли она здравии?

— Перемени пластинку,— попросил Леша,— честное слово, за три года это порядком надоело.

— Надоело, а живешь!— отпарировал Костя.

Леша смолчал. Спорить с Костей можно было бесконечно. И, как всегда, он окажется правым. Да и что сказал бы Леша в защиту своей квартирной хозяйки — этой старой брюзжащей женщины, живущей одними воспоминаниями. У нее были свои правила по содержанию квартирантов. От жильца требовалось: быть непьющим, некурящим и не слишком впечатлительным, чтобы не вздыхать по ночам. Агния Петровна, как все старые люди, спала чутко и признавала право вздохов только за собою. Еще она взяла с Леша обещание не приводить к себе ни друзей, ни подруг. Последнее условие Косте тоже было известно.

— Ну, а с Шурочкой объяснился?— спросил он Лешу, когда они шли из кино.

Леша сделал вид, что не слышит. В фильме, который они сейчас смотрели, любовь была разыграна, как по нотам. Герой тоже робел, но героиня была настойчива. Она не давала ему покоя, и, наконец, их любовь закончилась счастливым браком. Шурочка не такая. Для смелости ей не хватает ни красоты, ни темперамента итальянки.

— Если будешь тянуть,— пригрозил Костя,— я напишу ей анонимное письмо. О твоей любви она узнает от меня и это будет хуже.

Леша послал его к черту и, не попрощавшись, зашагал к дому.

Вот и особняк с башенками на крыше. Два больших сумрачных окна — Агнии Петровны. Она не любит солнца и заворачивается от него плотными пыльными шторами.

— Что так поздно?— спросила хозяйка.

— Собрание было,— солгал Леша.

Если сказать о кино, Агния Петровна примется расспрашивать. Не отвечать — невежливо, а пересказывать не хочется. Что она понимает в любви?

Он прошел к письменному столу, который приткнулся к кушетке. Это и был его уголок, за который Леша отдавал почти половину своей стипендии. Остальная площадь сорокаметровой комнаты принадлежала хозяйке. Здесь она была царь и бог, установленные ею порядки не смогли бы изменить никакие революции. Ширма с японскими цаплями отгораживала ее от Лешино мира, с красным томиком Маяковского на кушетке. Массивный книжный шкаф таил в своих недрах надежно запертых классиков обоих земных полушарий.

Еще в комнате стоял шифоньер, повернутый к Леше спиной. Агния Петровна закрывала его на два ключа и раз в году — весною проветривала вещи. Тогда комната превращалась в восточный базар. В шифоньере хранились отрезы.

— Шурочкины!— объяснила хозяйка, когда Леша выразил удивление, зачем все это хранится.— Мать у нее запасливая была, все для дочки старалась. Знала, что бог веку не даст. Умирала — мне наказывала: «Подрастет дочка — отдай!» А что значит подрастет? В семнадцать лет износит, а в двадцать и одеть нечего. Пусть лежит! Найдет свою судьбу, вступит в закон — тогда и вручу.

Леша слушал ее с удивлением. Агния Петровна выражалась причудливо, по-старинке. «Вступит в закон»— как странно, что это говорится о Шурочке!

Нет, о хозяйкиной племяннице нужно было говорить другими словами! Шурочка — хрупкая, миниатюрная девушка, рыженькая, как лисенок. У нее покатые плечи и тонкая шейка, всегда открытая и беленькая. Не слушая теткой воркотни, она зажигала люстру, заводила патефон и застенчиво приглашала Лешу. Если это был фокстрот, он кое-как справлялся со своими ногами. Но в вальсе Леша погибал. Шурочка кружилась не устая и требовала от него того же. Агнии Петровне это не нравилось. Ей было жалко бархатных дорожек, люстры и даже, наверно, звуков, которые слетали с пластинок.

За два года Леша и Шурочка достаточно узнали друг друга, но поговорить наедине все не удавалось. Костя был прав, обвиняя друга в нерешительности. Давно бы можно было назначить Шурочке свидание, наконец, подстеречь ее возле ткацкой фабрики. Но Леша все чего-то выжидал, изучая Шурочку, хотя обстановка их встреч каждый раз не менялась, поэтому и изучение Шурочкиного характера было несколько одностронним...

— Собрание!— ворчала из глубины комнаты Агния Петровна.— Чего, спрашивается, молодежи заседать? Какие такие вопросы? Все без толку!

Леша принялся за ужин. Наставления хозяйки на аппетит не влияли. Наоборот, было бы странно, если бы она замолчала.

— Что это у тебя там булькает?

— Где?— испугался Леша.

— В горле. Молоко, что ли? Удивительная молодежь — никакой грации! Глодает, как лошадь!

«Завтра же дам объявление!— решил разозленный Леша.— Найду другую комнату, к черту!» Потом вспомнил о Шурочке и приостыл. Завтра воскресенье — значит она придет. И опять — о молодость!— он захотел, чтобы скорее миновала ночь и скучное пустое утро.

Разбудила его Агния Петровна. Круглая и высокая, как башенка, что украшала их дом, она тяжело передвигалась по комнате. Кирпично-красный халат только усиливал это сходство.

Пока Агния Петровна обтирала пыль со шкафов и безделушек, Леша чувствовал себя арестованным. Под ее сверля-

щим взглядом он не мог ни читать, ни думать. Оставалось одно: включить радио.

— Итак, поговорим о красоте одежды,— сказал диктор.— Наша советская молодежь должна одеваться красиво и со вкусом...

— Выключи!

— Но мне хочется послушать.

— Во-первых, у меня болит голова; во-вторых, никто сейчас красиво не одевается. Не умеют.

— А Шурочка?

— Что тебе Шурочка?— подозрительно спросила хозяйка. — Шурочка из последнего тянется. Много ли она получает...

Верно. Леша давно примечал, что Шурочке трудно одеваться хорошо. До экзамена на ткачиху оставалось еще полгода. А ведь, наверное, хочется ей принарядиться. Тем обиднее, что в теткинском шифоньере лежат шелка и бархат, принадлежащие ей по праву. Но Леша знал: Шурочка скромна и ничего не попросит у тетки.

— Агния Петровна, а когда у Шурочки день рождения?

Хозяйка высунулась из-за шкафа и внимательно посмотрела на Лешу бесцветными глазами.

— А тебе зачем?

— Так,— уклончиво ответил Леша,— хотел поздравить...

Оказалось, что день рождения Шурочки приходится на двадцатое сентября, то есть через неделю. Но придет ли она в этот день? И главное, как рассчитать студенческий бюджет, чтоб неожиданный расход на подарок не очень отразился на Лешинем меню.

Но тут совершенно кстати подоспел родительский перевод. Родители у Лешы были молодцами и вовремя догадывались о его финансовых затруднениях.

Он решил приподнести Шурочке какие-нибудь бусы. Сейчас это, кажется, модно. Все Лешины однокурсницы носили такие украшения. И всем это было к лицу, что отметил даже скептик Костя. Впрочем, Леша не сказал ему о своем замысле. При всех хороших качествах, друг оставался насмешливым человеком. Впрочем, продавщицы тоже улыбались. Они спрашивали, какой даме предназначается подарок — брюнетке или блондинке! И Леша мрачно отвечал, что дама — рыжая...

Наконец, он облюбывал мелкие янтарные бусы цвета моченой брусники. И не так ему понравились сами бусы, как подвешенный к ним золотисто-прозрачный медальончик, с какими-то естественными вкраплениями. Продавщица объяснила, что это ни больше ни меньше, как ископаемая мушка, имевшая неосторожность попасть в смоляную янтарную каплю.

Шурочка была очень удивлена и обрадована.

— Что это?— воскликнула она.— Бусы? Какая прелесть! Мне?! Нет, нет!— она стала отталкивать Лешину руку, в которой горсточкой брусники лежал подарок. Тетка следила за ней строгим взыскующим взглядом. Потом, видимо, довольная поведением племянницы, милостиво разрешила принять подарок.

— Спасибо!— сказала Шурочка, сияя теплыми карими глазками.— Я как раз собиралась купить. Ну, конечно, не такие. Таких я даже и не видела.

Она подбежала к зеркалу и стала примерять бусы, приподняв острые локоточки. Наконец, медальон улегся в нежной впадинке шеи. Он был одного цвета с рыжими завитками, которые опускались Шурочке на плечи. Но как теперь проигрывать блузка!

— Она совсем старая!— жалобно сказала девушка.

— Ничего, походишь!— решила тетка.— И вообще снимки бусы. Неужели они для того подарены, чтоб сразу на шею! Пусть полежат!

Но девушка проявила твердость духа. Ни за что на свете не снимет эти бусы!

Старая блузка омрачала ее тоже недолго. Как порхала Шурочка в тот вечер по комнате! Лешины ноги тоже стали резвее и девушка сказала ему, что в танцах он делает успехи. Вдвоем они подняли такую пыль, что Агния Петровна открыла форточку.

Ночью хозяйка расхворалась. То ли продуло ее на сквозняке, то ли объелась пирогом, то ли пришел час, когда любая причина оборачивается против человека, но Агнии Петровне стало худо. Голубой ночник освещал ее запрокинутое на подушке лицо с закрытыми глазами. Рот ввалился. Дышала она прерывисто и трудно. Перелуганный Леша размещивал в стакане какие-то порошки, бегал на кухню смачивать водой полотенце.

— Зови скорую!— шепотом приказала хозяйка.

Увезли ее на рассвете, а когда клали на носилки, в руке ее звякнули намертво зажатые ключи...

Леша остался в комнате один с японскими цаплями, которые голубели на ширме, и с мрачными шторами на окнах. Шторы можно было раздвинуть, но Леша боялся нарушать хозяйкин порядок. Единственно, что он позволил себе,— это прохаживаться по всей комнате, подолгу останавливаясь у запертого книжного шкафа. Тускло поблескивали корешки книг. Они стояли, как солдаты на параде, которым забыли скомандовать «вольно».

Шурочка не приходила. Вероятно, она считала неприличным навешать молодого человека, а может ее одолевали всякие заботы, связанные с болезнью тетки.

Но однажды, когда за окном падал первый снег, она при-

шла. На ней было старенькое осеннее пальто и синий берет, на котором таяли снежинки. Глаза заплаканы.

«Умерла», — догадался Леша и бережно взял девушку за руки.

Да, она пришла сообщить ему о смерти тетки. Завтра ее хоронят. Когда человек умирает, все остальное происходит удивительно быстро. Яма, венки, сопроводительный автобус — пожалуйста, к вашим услугам. Даже музыка! Сказав об этом, Шурочка заплакала.

Леша успокаивал ее, как мог. Эти минуты сблизили их гораздо больше, чем два прошедших года.

— Вам придется искать другую квартиру! — сказала Шурочка. — Сюда въедут другие жильцы.

Леша сказал, что даст объявление, а пока поживет в общежитии, у Кости.

— Можно бы и у меня, — заметила Шурочка, — только это неудобно. Квартирантов пускают старые женщины или те, которые ищут мужа.

— А вы не ищете? — неосторожно спросил Леша.

— Нет! — просто ответила девушка и посмотрела на него с укором.

Дня через три она позвонила ему в общежитие. Ей хотелось, чтоб он помог ей разобраться с вещами.

— С какими вещами? — не понял Леша.

— С тетинными... вернее с моими.

На этот раз Леша ожидал свидания без особого энтузиазма. Он не любил ни комнаты покойной Агнии Петровны, ни ее вещей. Ему казалось, что до сих пор на всем лежит ее запрет. Впрочем, это впечатление рассеялось, как только он увидел Шурочку. К его приходу она успела снять мрачные шторы, вынести в переднюю ширмы и даже зазвать в гости солнечный луч, который уперся в зеркало шифоньера, заиграв на гранях всеми цветами радуги.

— Спасибо, что пришли, — сказала Шурочка, протягивая ему руку. — Я все время думала о вас. Нет, нет, — торопливо поправилась она, заметив, как ринулся к ней Леша, — не о вас, а о том, придете ли вы. Здесь так грустно одной! — и Шурочка тяжело вздохнула.

Она отошла от шкафа и, облокотясь на подоконник, посмотрела на Лешу, как бы спрашивая, можно ли ему довериться.

— Я тоже думал о вас, — сказал Леша. — Я всегда думаю о вас, Шурочка. Вы — такая...

Он так и не сумел определить, какая именно. Девушка засмеялась:

— С какой стати мы вздумали объясняться. Скорее за дело. Начнем с этого шкафа. Мне очень хочется посмотреть, что там находится.

— Почему с этого?— насторожился Леша.

— Да он самый загадочный. Тетя говорила мне, что там находится...— Шурочка замялась, подыскивая подходящее слово.

— Там шелк и бархат,— выручил ее Леша.— Однажды Агния Петровна проветривала вещи, когда я вошел в комнату.

Ему не хотелось произносить противного слова «приданое». От этого слова припахивало торговой сделкой. Приданое — значит придача к чему-то неходовому. Раньше им прельщали нерешительных женихов. Неужели Шурочка всерьез отнеслась к тому, что говорила тетка?

— Послушайте, Шура, а если мы сначала посмотрим книги?

— Как хотите,— неохотно согласилась девушка, но тут же вернулась обратно к шифоньеру.— Нет, сначала — это!

Леша пожал плечами, нехотя стал открывать шкаф. Он дважды повернул ключ, исподлобья наблюдая за Шурочкой. Она вся вытянулась вперед, как будто в недрах шкафа скрывалось какое-то чудо. Недоброе чувство шевельнулось в Леше. Тряпичница! Разоденется, и — прощай бедный студент! Знает он этих фифочек.

Леша повернул ключ обратно и встал к шкафу спиной. Если она действительно такая — пусть он узнает об этом сейчас, немедленно!

— Шура, ваша покойная тетя говорила мне, что все эти красивые вещи — ваше приданое.

— Ну-да,— кивнула девушка.

Она недоуменно взглянула на Лешу и вдруг мучительно покраснела. Смутные, некрасивые догадки о лешином корысти пробежали по ее лицу, как тень от облака.

— Идите, Леша, я открою сама. И, вообще, простите, что побеспокоила...

— Да нет,— смутился Леша, как всегда теряясь в ее присутствии.— Какое же это беспокойство. Я — просто дурак. Лезут в голову всякие глупости. Ну, честное слово, Шурочка, мне вдруг показалось, что вы чем-то похожи на свою тетю. Главное — приданое! Вы — и приданое. Не вяжется!

Но Шурочка уже разволновалась. Ей вовсе не хотелось оправдываться перед Лешей или объяснять, что эти вещи дороги ей, как память о матери. Наконец, они ей просто кстати. Ведь хочется красиво одеться, что же в том плохого? Она подошла к окну и стала следить, как на землю падает первый, такой долгожданный, снег. Снежинки были тяжелые и мокрые, они быстро-быстро летели вниз и, коснувшись земли, тут же таяли.

— Если хотите знать,— тихо начала Шурочка, неотвязно следя за снегом,— так я очень люблю все красивое. Не забы-

вайте, что я ткачиха. Да еще по шелку! Другой раз тянется перед тобой шелк, а ты мысленно наряжаешь в него всех своих знакомых. Ну, и к себе прикидываешь. По-моему, это вполне простительно, мне не сорок лет...

Леше было стыдно за свои подозрения. Вот так же, как первый снег, они коснулись его души и растаяли. И никогда, нет, нет!— он не позволит, чтобы прочный холод зимы ворвался в их отношения с Шурочкой.

— Ладно,— примирительно сказал Леша,— в общем-то, я тоже за красоту. Вскрывайте шкаф и пойдем на воздух. Сегодня первый снег.

Повеселела и Шурочка. Но все-таки она слишком поспешно повернула ключ в шифоньере, слишком нетерпеливо отбросила в сторону посыпавшиеся им на голову старые зонты и шляпки.

— Когда я сошью красивое платье,— говорила она, помогая Леше добраться до главного,— мы с вами пойдем в театр. У меня и сейчас есть хорошее платье, но оно самое обыкновенное. А это... нет, вы не поймете, почему мне дорого именно это платье...

— Да вы сначала сшейте!— засмеялся Леша.

Он стоял рядом с Шурочкой и любовался ею, хотя душа ее казалась ему по-прежнему неуловимой. Но, как ни странно, за эту неясность он любил ее еще больше. Да, любил, и в этом уже не было сомнения!

Когда добрались до отрезков, Шурочка всплеснула руками и замерла, как очарованная.

— Какой чудесный рисунок!— тихо сказала девушка, осторожно дотрагиваясь до шелка.— Интересно, на каких станках это ткали? Цветы чуть вдавленные... И основа другая. Сейчас я отрежу кусочек и отнесу завтра на фабрику. Просто любопытно...

Ну-да, она интересовалась шелками чисто профессионально! А ведь минуту назад Лешу еще точила ревность. Как он боялся этого постыдного чувства! Ревнивый человек — всегда предмет для насмешек. А если разобраться, то что смешного в страдающем человеке? Нет, Леша никогда не согласится, что ревность только пережиток. Так говорят холодные, равнодушные люди.

— Шурочка!— прошептал Леша, готовый высказать ей все, что обуревало его в эту минуту.— Я никогда не говорил вам о себе. Можно мне сейчас?

Но нельзя же объясняться в любви, стоя истуканом? Надо что-то сделать, хотя бы поцеловать милую, милую Шурочку... Неловкий, он протянул к ней руки, но она рванулась из них, как птичка. Легкая ткань взмыла над нею наподобие крылышек.

— Поймайте!— крикнула она, развеселившись.

Леша сделал страшное лицо и бросился за нею. Торжественность минуты пропала.

Они носились по большой комнате и вокруг шкафа, который теперь зиял пустотою. Глупый шкаф, сколько из-за него сегодня тревог! Казалось, вместе со старьем он скрывал в себе алчный дух покойной Агнии Петровны, дух, который изгнан теперь навсегда! Наконец, Леше удалось поймать край развевающейся материи. Он стал тянуть ее к себе, пытаясь притянуть и девушку.

— Не смейте!—сердилась Шурочка,—слышите, не смейте!

И вдруг, о ужас!—материя стала расползаться, как мокрая бумага. В руках у Леша остался один лоскут, у Шурочки — другой.

— Что вы наделали!—жалобно вскрикнула девушка.

Нет, не Леша был тому виною. Время сделало свое дело. Они убедились в этом сейчас же, когда посмотрели на свет все, что называлось приданым... Тогда Шурочка села в кресло и подавленно смолкла.

— Да плюньте вы!—неловко утешал ее Леша.—Подумаешь, какое-то старье. И грустить о нем нечего. В магазинах полные полки. Пойдете и купите.

— Разве я об этом грущу?— строго спросила его Шурочка.— Вы так ничего и не поняли, Леша. Мне были дороги эти вещи, как память о матери. Ведь она тоже была ткачихой. Может сама и ткала...

За окном падал и падал снег. Ранний, он осыпал липы, еще не успевшие расстаться с листьями, белил оконные карнизы и таял, таял, таял... Склонившись к Шурочке, Леша неловко гладил ее по плечу. Оно было остреньким и теплым. Девушка прикрыла глаза, отдаваясь неумелой лешинной ласке. И в это время ударило в окно спохватившееся солнце. Оно озарило всю непрочную белизну раннего нашествия зимы, засияло со всей щедростью запоздавшего друга. И сразу зашумело, забулькало в водосточной трубе. Во двор вышел дворник и стал помогать солнцу метлою.

— Шурочка!— позвал Леша.— Поедемте сейчас в лес. Мне хочется показать вам нечто удивительное. Видели когда-нибудь осину в снегу? Вот сигнальщик! Другой раз зима вот-вот нагрянет, а она ей все сигналил красным: «Занято, осень». Ну, зима и ждет где-нибудь на запасном...

— Не знаю,—пожилась Шурочка.— Ехать вдвоем — как-то неудобно. Может, еще Костю пригласите?

Она тут же пожалела о своих словах. Как можно не верить Леше? Он и в лесу остался бы тем же. Не робость мешала ему, а любовь.

— Ладно, поедем. Только посмотрим еще книги. Хорошо?

Вот это было наследство! Сначала они просмотрели его просто так, бегло. Потом изучали каждую полку в отдель-

ности. Наконец, каждую книгу. Дотягиваясь до верхней полки, Шурочка встала на стул. А высокий Леша стоял подле, готовый подхватить ее каждую минуту.

— Пушкин, Толстой, Лермонтов,— сообщала ему Шурочка.— И Брэм. Кто такой Брэм, Леша? Ах, это о зверях и букашках? Ужасно люблю букашек. А ты? Ты будешь ходить ко мне за книгами?

Они уже не замечали, что говорят друг другу «ты». Не замечали, что сидят на полу, обнявшись, смешивая дыхание.

А там, за городом, догорала осень, наполняя леса шорохом опадавших листьев.

ЧЕЛОВЕК С ПРОШЛЫМ

Проснулся Толя сразу, будто по окрику. Так было теперь всегда, если он засыпал нетрезвым. Будило его чувство страха за вчерашнее.

— Ребята!— негромко позвал он. В тракторном вагончике было тихо. За тонкой стеною слабо посвистывал ветер.

Не расставаясь с одеялом, Толя свесил вниз кудрявую голову и осмотрелся: две нижние койки — аккуратно заправлены, на столе — пустая пол-литровка, на полу — обрывки фотографии...

Зря он вчера все это затеял: и выпивку и ссору. Пил, как всегда, один. Олег делал вид, что принимает участие, а на самом деле выплескивал водку на пол. Борис тренькал на мандолине, Сергей, по обыкновению, спал. А Толе было холодно с дороги, он устал и жаждал откровенности. Они уже достаточно сжились в этом тракторном вагончике, в этой белой степи, чтобы не скрывать друг от друга ничего. Но Борис испортил все. Он стал читать Толе нотацию. Ему и невдомек было, что куплена пол-литровка для храбрости и что в этот раз Толя непременно решил бы начать давно задуманный разговор. Борька же ни черта не понял! Он обозвал Толю алкоголиком и посоветовал не разводить сырость в их образцовом жилище. И все это под треньканье своей мандолины, на которой не хватало двух струн! В этот момент Толя оборвал бы и оставшиеся, но на глаза ему попала любимая Борькина фотография с изображением уссурийского тигра. Этот представитель кошачьих висел над Борькиным изголовьем, навевая ему бесстрашные сны. Теперь-то Толя понял, как это должно было выглядеть глупо, когда он крошил ни в чем не повинную фотографию! Хотел досадить Борису!? Но вышло все иначе. Борька и глазом не моргнул. А вот Нина, появившаяся на пороге в тот момент, так и замерла с никелированным чайником в руках, из которого валил пар. Выражение растерянности на ее лице было красноречивее многих слов.

— Заходи, заходи, Нина!— весело пригласил Борис.— Толя благодарит тебя за чай и за любовь, но он уже согрелся... Видишь, сколько в нем жару?— И показал сначала на стол, где поблескивала пустая посудина, потом на самого Толю, который топтался на обрывках несчастной фотографии.

Со стороны Бориса это была подлость! Он знал, как робка Нина, как прячет она от других свое первое чувство! И вдруг сказать об этом прямо и грубо.

Вот и все. Потом сн, кажется, заснул. Впрочем, нет, был еще разговор, но о чем — Толя теперь не помнит. Да это и неважно. Заботит его другое — Нина. Простит ли она ему вчерашнее? Может, пойти к ней сейчас? Вагон, где живут девчата,— через дорогу, вернее через сугроб. Но тут взгляд Толи падает на стенные часы, которые показывают полдень... Как же это случилось, что товарищи одни ушли на работу, не разбудив его?

Накинув полушубок, Толя вышел в степь и, жмурясь от яркого снега, торопливо направился к конторе.

* * *

В конторе было жарко. Олег с Сережкой и с группой других ребят стояли у печки и подсушивали рукавицы. Олег был рослый, в белом глухом свитере, с которым он не расставался в память о прежнем увлечении альпинизмом. По той же причине он отказался от валенок, заменив их ботинками на толстой колючей подошве. Мужественный Олег восхищал Толю: ему так хотелось с ним подружиться, но Олег был одинаково ровен со всеми.

— Привет,— сказал Толя, быстрым взглядом окидывая товарищей.— Почему меня не разбудили?

— Да так...— уклончиво ответил Олег.— Спал крепко. Ты вчера поздно вернулся.

— Мы хотели,— добавил Сережка,— да Борис не разрешил. Растрогал ты его.

— Чем?— испуганно спросил Толя.

— Болтает он,— сухо сказал Олег.

— Нет, чем же я растрогал?— настаивал Толя.

Темные глаза его беспокойно блестели. Он стоял перед ребятами со снятой шапкой, которую переключивал из руки в руку. В перепутанных кудрях белела пушинка.

— Да с Ниной тут нехорошо вышло,— нехотя сказал Олег.— Обиделась она. Ну, Борька и осознал...

«Выдумывает!— подумал Толя.— Сережка говорит о другом. Может, я проболтался?» То, что он вчера хотел открыть ребятам свою тайну, ужаснуло Толю. Никто не должен знать о его прошлом. Оно осталось там, в городе! Во всяком случае, теперь надо держаться настороже. Если тайны больше нет,— он уйдет в другой совхоз, подальше.

— Анатолий!— позвала его секретарша.— Вы почему сегодня опоздали?

Толя нехотя подошел к ее столу. Он знал, что эта белобрысенькая девушка интересуется им с первого дня приезда. Но что ему до того, когда у него есть Нина? А есть ли? Вот секретарша Лиза бесспорно существует. Стоит ему нагнуться к ее розовому ушку и шепнуть, что он ждет ее сегодня вечером у камышей, на озере, как она скажет: «Да!» Только, что он будет делать с ней у камышей? Греть ее маленькие обветренные руки? Шептать о звездах? Или показывать волчьи следы, которыми усеян нетронутый снег? Нет, это было возможно только с Ниной...

— Я, Лизочка, сегодня нездоров. Да и поздно вчера вернулся. Ездили на станцию за горючим.

Лиза умела краснеть беспричинно. Порозовел даже подбор на гладко причесанной головке. Не глядя, ткнула она ручкой в полную чернильницу и тут же посадила на сводку жирную кляксу А ведь сводка, наверно, идет в трест и главный инженер Степан Иванович всегда нервничает из-за малейшей помарки на таком важном документе.

— Вы еще не были у главного инженера?— коротко спросила Лиза. Толя был единственным среди ребят, к кому она обращалась на «вы».

— А разве он меня спрашивал?

— Да, как только пришел в контору.

— По какому поводу?

— Не знаю,— чистосердечно призналась Лиза.— По-моему, он кадры изучает.

Толя усмехнулся. Поздновато занялся главный инженер изучением своих кадров. Он мог бы это сделать и в поезде, когда находились в пути четверо суток. Но Степан Иванович предпочитал больше рассказывать о себе, нежели интересоваться другими. Еще в поезде каждый совхозовец знал, что Степан Иванович долгие годы работал в министерстве, имеет награды и поощрения, недавно получил новую квартиру и тем не менее поехал на целину. Добровольно! Впрочем, как выяснилось потом, жена осталась в городе. И все поняли, что осталась она неспроста, поскольку Степан Иванович очень уж всегда расхваливал городскую жизнь и новую свою квартиру...

Между тем, за тонкой перегородкой, где в маленькой комнате сидел сейчас главный инженер, позвонил телефон. Секретарша Лиза ринулась было туда послышать, но Степан Иванович уже снял трубку и зарокотал в нее приятным басом. Потом крикнул Лизе, что будет сейчас диктовать ей телефонограмму. Склонив голову набок, так что одна белесая косичка касалась щеки, а другая бумаги, Лиза писала, повторяя вслух: «...прибыл срочный груз сталинградского тракторного. Точка. Каждый час промедления разгрузки взимается штраф

размере...» Поставив цифру, Лиза взглянула в окно и, сказав «опять метель», пошла с телефонограммой за перегородку.

Как бы в подтверждение ее слов, захлопало ставней и оторвавшимся на крыше железным листом. Потом в контору ввалился шофер Бортников и тоже сообщил о разыгравшейся непогоде.

— Семен!— позвали из-за перегородки.— А ведь придется тебе поехать. Груз срочный прибыл.

— Как прикажете!— лихо отозвался Бортников и подмигнул ребятам. Такая уж была у него привычка, разговаривая с начальством, незаметно подмигивать товарищам. Степан Иванович привез его с собой, как бывшего «персонального», хотя для этого Семену и пришлось сменить изящную «Победу» на громоздкую трехтонку. Впрочем, степь ему понравилась, и он уже обосновался в ней по-семейному, заведя первым делом корову. Когда в его дворе с саманным домиком замычало и закудахтало, он почувствовал явное превосходство над своим «хозяином», который жил все еще по-походному, а главное — в одиночку.

Между тем, Степан Иванович, поставив в известность шофера, смолк, видимо решая, кого ему назначить сегодня в сопровождающие.

— Рогачев здесь?— крикнул главный инженер, и Толя, услышав свою фамилию, вздрогнул.

— Здесь, Степан Иванович.

— Зайди!

Когда Толя вошел в кабинет, главный инженер сидел за письменным столом и что-то писал. На столе лежала высокая шапка из цыгейки, а рядом с нею — раскрытая тетрадь, в которой Толя сразу отыскал свою фамилию.

— Ну, Рогачев, как устроился?

— Ничего, не жалуюсь.

— Жалоб здесь не принимают,— добродушно усмехнулся Степан Иванович и прикрыл ладонью Толину фамилию, с вопросительным над нею знаком.— За грузом поедешь?

— Назначите — поеду.

— Тогда старшим будешь.

— Как хотите.

— Ночью придется ехать, в буран.

— Так что же. До весны не последний.

— А ты ничего,— сказал Степан Иванович и, забывшись, снял руку с тетради.— Подходящий паренек, бойкий... Мне вот тут говорили...— близоруко щурясь, он перевернул страницу и что-то прочитал на обратной стороне. Подавшись вперед, Толя попытался сделать то же, но, заметив его маневр, Степан Иванович откинулся на спинку стула и поднес тетрадь почти к самым глазам.

— Н-да, брат, есть за тобой один грешок. Если бы я знал это в Москве, я бы еще подумал брать тебя в совхоз или не брать. Конечно, ты еще молодой и можешь исправиться, но все-равно нехорошо...

Толя оторопел. Неужели Степану Ивановичу все известно? Но, откуда? Кто мог сказать ему, кроме секретаря райкома? А ведь тот дал слово, что все останется в тайне. Или Степан Иванович намекает ему насчет вина? Но, кроме товарищей по вагону, никто не видел Толю пьяным. Значит — Борька! Он, наверное, всюду трезвонил, что Рогачев пьяница.

— Ладно,— сказал Степан Иванович, насладившись Толиным смущением.— Вернешься со станции — поговорим. Бери своих ребят — и езжайте.

Он крикнул Лизе, чтоб она заготовила документацию, и махнул рукою, давая понять, что разговор окончен.

Когда Толя вернулся в общую комнату, Олег и Сережа все еще стояли у печки. К ним присоединился и Борис. Судя по тому, как он сверкнул своими пронзительными черными глазками, Борис уже был осведомлен о предстоящей поездке.

— А-а, товарищ старший!.. можно откозырять?— вытянул-ся он в струнку.

— Не паясничай!— сухо предупредил Толя.

Шофер Семен, оформлявший у Лизы путевку, тоже обернулся и многозначительно посмотрел на Толю. «Хоть ты и старший,— говорил его взгляд,— а плясать будешь под мою дудочку».

— Машина готова?— спросил Толя.— Тогда я сейчас, только за рукавицами сбегая!

— Сбегай, сбегай!— разрешил Борька.

Он не простил ему вчерашнее, это было ясно. Но не простил и Толя. Чем больше думал он о вопросительном знаке, тем достоверней казалась ему Борькина «подлость». И пусть Сережка не выгораживает его, как слишком чувствительного товарища. Олег не зря оборвал его на полуслове.

Напрасно ждала Лиза хотя бы мимояетного взгляда Толи. Насупленный, он прошел мимо и тяжело хлопнул дверью. Ветер сразу подхватил его и стал толкать в спину, вперед по занесенной тропинке. Да, он шел домой с единственным желанием увидеть Нину! И если ребята догадались об этом — ему наплевать, хотя он и старший!

Степь вся дымилась. Сухой снег перекатывался по сугробам, обозначая их гребни вьюжистыми змейками. Но странно, в просветах низких облаков проглядывало голубое небо, а в воздухе чувствовалась влажность, и камыши, обрамлявшие маленькое озеро, показались Толе тоже не столь сухими, как три дня тому назад. Весна была близка!

У вагона, где жили девчата, он остановился. Нарочно поскрипел снегом. Покашлял. Обыкновенно после таких сигналов

Нина выскакивала на крыльцо, чтобы пригласить его на домашний обед. В обеденный перерыв она шла домой, тогда как ее товарки предпочитали столовую. Вероятно, они понимали, как дорог Нине этот час, пролетающий в обществе Толи словно минута.

— Нина, ты дома?

Он спросил об этом уже с порога, отряхивая с себя снег и не решаясь сделать вперед ни шага.

Да, она была дома. На маленьком столике — две дымящиеся тарелки, черный хлеб и масленка. Нина стояла у печурки, помешивая что-то в кастрюльке. Она знала, что он вошел, но даже не обернулась.

В другое время он сказал бы сначала «здравствуй», потому что-нибудь еще незначительное для начала. Сейчас было некогда. Ведь он пошел за рукавицами!

— Мне некогда — отвечай сразу: сердисься? Если да, я пошел, ждет машина.

Нина продолжала мешать в кастрюльке.

— Собственно, ты все знаешь,—продолжал Толя, подходя к ней ближе, чтоб увидеть ее склоненное лицо.— Ну, случается, выпью — не секрет. А с Борькой — это даже не ссора. Тут глубже!

Нина выпрямилась и пожала плечами. Шевельнулись белые лямки фартучка. Она была похожа сейчас на десятиклассницу. Толя засмеялся и, скинув полшубок, привычно притянул ее к себе за шею. Но Нина рванулась из его рук и обдала его строгой голубизной своих глаз. Они были сейчас такими же холодными, как тот просвет в небе...

— Значит, сердисься? Что же, имеешь право. Выругаться в присутствии такой снежной королевы...

— Ах, Толя!—вдруг жалобно сказала Нина, и губы ее вздрогнули. — Причем тут снежная королева? Ты пьешь — вот что страшно! Скажи, почему, что с тобой случилось?

— А что со мною могло случиться?— злобно крикнул он Нине.— Почему все об этом спрашивают, черт возьми! Ты-то бы хоть молчала! Или тебе Бориса жалко? Так и пойдешь к нему. Он будет рад!

— Толя!— испуганно вскрикнула Нина.— Что ты, опомнись!

Нет, он уже не владел собой! Лицо его стало белым, зрачки сузились.

— И можешь не ходить к нам со своим чайником! Надо мною уже смеются. Догадки всякие строят...

— Кто догадки строит?—шепотом спросила Нина.— Какие догадки? Кто посмел?

Робкой девушки больше не было. Перед Толей стояла другая Нина — натянутая, как струна. Короткие мальчишеские волосы ее были откинута, щеки нервно горели.

И вдруг Толю пронзило острое раскаяние. Ведь ей больно — этой маленькой застенчивой Ниночке, которая так скрывала от всех свою любовь!

— Ну, не так я сказал, не так,— забормотал Толя, протягивая к ней руку. — Никто ничего не строит. Ты должна меня понять. Кто же другой, если не ты? Вот вернусь — все расскажу. Все, Нина! Ты готовься — это не каждому по плечу...

Он снова хотел обнять ее, но она поспешно отступила к окну. В лице по-прежнему — настороженность.

— После, Толя, после... Я, пожалуй, догадываюсь. Ты столько раз намекал мне об этом...

— Боишься?

— Нет... Другого боюсь. Пьешь ты.

Они помолчали. За окном насвистывал ветер. Раскаленная печка гудела. На ней, настраиваясь к песне, закипал никелированный чайник.

— Пить я, пожалуй, брошу. Давно обещано. Самому секретарю райкома слово давал. Я, Нина, с тоски пью. Душа у меня застыла. Все в одиночку переживаю. Надо было сразу объявить, кто я и откуда. А теперь поздно, смеяться будут. Так что лучше уж в другой совхоз податься. Поедешь?

Нина неподвижно стояла у окна. Лицо ее было в тени.

* * *

После ремесленного училища Толя сразу попал к станку. Фабрика выпускала копировальную бумагу и, с точки зрения подростка, была неинтересной. Не привлекал его и заработок. Не так представлял Толя свою будущую жизнь. По его мнению, она должна быть кипучей, дерзкой — такой, что не зазевашься. И слесарь шестого разряда, по его понятиям, лицо достаточно авторитетное, даже для того, чтобы ему могли доверить открытия новых планет. Разумеется, не на командном посту, а хотя бы в качестве технического персонала. Но никто не летал на планеты. Ученые изучали их пока на земле. Попасть в арктический поход надежды тоже не было. Китобойная флотилия находилась то в Одессе, то на Дальнем Востоке. А Толя жил в Москве, в Марьиной роще, где дома ожидали своей очереди на снос. Все шло здесь привычным, заведенным порядком. Утром он бежал на фабрику, вечером — домой, к маме. В комнате все знакомо с детства. Вот старый диван, с какими-то необыкновенными пружинами, этажерка с книгами и шахматный столик, а на нем мамина швейная машина. В простенке — трюмо, перед которым обычно вертятся заказчицы. Они говорят всегда о чем-нибудь скучном. А подвига так и не предвидится.

Он отчетливо помнит, что это случилось в субботу. Сначала он зашел в сберкассу и добавил к своей получке ту сумму,

которой недоставало для покупки приемника. Он хотел сделать матери подарок, о котором она давно мечтала.

В магазин он попал перед закрытием. Впрочем, это оказалось удачным, так как полученный товар уже пустили в продажу. Толе оставалось только выписать чек, но тут продавец объявил, что товар кончился. Толя был очень огорчен: он уже настроился посидеть сегодня у экрана.

— А завтра приемники будут?— спросил он у продавца.

— Вряд ли. Теперь до первого числа.

И вдруг кто-то дернул его за рукав. Перед ним стоял хорошо одетый юноша, с белым кашне на длинной шее.

— У меня есть чек. Хочешь — возьми. Просил знакомый, а сам не пришел...

— Вот спасибо!— обрадовался Толя.— Прямо выручил. Я на фабрике, ходить по магазинам некогда... Может, тебе за хлопоты накинуть?

— Бери, бери!— засмеялся тот.— Я не спекулянт. Такой же, как ты радиолюбитель.

Из магазина вышли вместе.

— Ты где живешь?— спросил парень и, узнав, что на Каланцевской, обрадовался.— Как раз по пути. Давай помогу. В троллейбусе сейчас давка.

Он проводил его до самого дома и, прощаясь, оставил свой телефон. Звали его Игорем.

— А ты где работаешь?— спросил Толя.

— Я студент,— он назвал один технический вуз.— Сдаю экстерном. А в общем, — сын своих родителей...

Но увидеть его родителей Толе так и не пришлось. Игорь не приглашал его к себе, предпочитая встречаться на улице. Он, как и Толя, оказался театралом, причем у него всегда были контрамарки, что избавляло Толю от лишних расходов. Жизнь стала разнообразней, а что касается подвигов, так Толя теперь часто видел, как они совершаются на сцене...

Мало-помалу круг его знакомых расширился. Сначала Игорь свел его с низкорослым парнем со смешным прозвищем «Движок».

— Это мой однокурсник,— коротко объяснил приятель.

Теперь по театрам они ходили втроем. Впрочем, разговаривать с Движком было не о чем. Все его интересы сводились почему-то к футболу.

— Ну его к черту!— сказал как-то Толя, уже совсем не стеснясь Игоря.— Смотрю «Вишневым сад», а сам на вратарях помешался: только о них и разговору. Прямо во время действия.

— Ничего,— усмехнулся Игорь,— у него достоинства скрытые. Потом увидишь.

В тот же вечер, у входа в театр, он познакомил его еще

с одним человеком, по имени Михаил Семенович. Это был сутулый неопрятный субъект, заросший щетиной, с тусклыми, неприятными глазами. Единственно, что блестело на нем,— это кожаная куртка. Он все время присматривался к Толе, как будто ждал, что тот попросит у него взаймы. Толя разобиделся, но Игорь тут же успокоил его, сказав, что у Михаила Семеновича взгляд бдительного человека, поскольку он на спецработе в их институтской лаборатории.

— Ты с ним сойдишь поближе, интереснейший человек. Если понравишься, возьмет к себе в лаборанты, хотя это и сопряжено с риском...

— С риском?— расцвел Толя.— Какие-нибудь испытания, да?

— Там видно будет. Главное, надо убедиться, умеешь ли ты хранить тайну...

И вот уже появился повод к застольным встречам в кафе и ресторанах. Платил, разумеется, Михаил Семенович. Потом он стал приглашать к себе, всякий раз по новому адресу. Толя недоумевал, но Игорь опять успокоил его, сказав, что Михаил Семенович вот-вот получит собственную квартиру, а пока снимает комнаты, где придется. Толя заметил, что Игорь побаивается этого неопрятного человека и зовет его почему-то «боссом». Впрочем, у всех игоревых знакомых имелись запасные имена. Толя, например, стал «Медведем». Все это забавляло и становилось похожим на затянувшийся спектакль. Но главное началось с того дня, когда Толю представили некоему «Филину»...

Это произошло у Михаила Семеновича, где намечалась маленькая вечеринка.

— Так,— сказал Филин, бесцеремонно оглядев Толю.— Значит ты и есть любитель тайн? А как у тебя с боксом?

— С боксом?— удивился Толя.— А причем здесь бокс?

Михаил Семенович раскатисто захохотал, потом толкнул Толю к Филину.

— Сырой материал, сырой! Займись, Филин!

И Филин занялся. Из двух комнат, снимаемых «боссом», одна была отведена для физкультурных тренировок. Но уже с первого удара, который нанес ему жилистый Филин, Толя понял, что ничего общего с боксом это не имеет. Противник оценивал его устойчивость. Набычив шею, Толя дал сдачи и, кажется, неплохо, потому что Филин, согнувшись пополам, прислонился к стене. Запомнился его крючковатый профиль, сморщенный от боли, и светлокоричневый, в крапинку, костюм...

— Игорь!— позвал Толя.— Убери от меня этого прохвоста. И вообще, мне здесь не нравится...

— А вот это видел?— спросил Филин и, распахнув пиджак, показал ему финку, засунутую под ремень, острием вверх.

В дверях стоял Игорь. Он держал во рту папиросу, перекидывая ее из одной стороны в другую. Глаза трусовато бегали.

— Не кобенься, Анатолий, с Филином шутки плохи. Потом за тобой должок...

Он вынул из кармана заранее заготовленный счет и протянул его Толе. Сюда вошло все: и стоимость «контрамарок», и буфетные угощения, и даже сегодняшняя попойка... Внизу, под чертой, красиво изгибалась шею двойка с тремя нулями...

Шайка «босса» орудовала в радиомагазинах. На другой день Толе приказано было явиться туда и «пронаблюдать» за операцией. Ему часто рассказывали о карманниках, но в этих рассказах отдавалась дань ловкости этих людей, и поэтому подлость их как-то не доходила до сознания.

То, что увидел Толя, было отвратительным. К одному из покупателей, солидному дяде в меховой шубе, бессовестно лезли в карман. Это делали Движок с Филином. Игорь стоял поодаль, делая вид, что очень интересуется товаром. А гражданин в шубе ничего не замечал. Заранее облюбовав себе попку, он смотрел только на нее, опасаясь, как бы его не опередили.

«Скажу,— с отчаянной решимостью подумал Толя,— крикну — и пусть их схватят, всех, всех и ради этого хоть смерть!»

Но в тот момент, когда он набрал в легкие воздух, чтоб крикнуть о ворах, как можно громче, за локоть его взял «босс». Толя повернул голову и увидел над собою маленькие свинцовые глазки.

— Поглядывай!— приказал ему Михаил Семенович, но локтя не выпустил, пока вся шайка не покинула магазина. И тогда Толя понял, что отныне за каждым его шагом будут следить, следить до тех пор, пока он не сдастся.

И Толя сдался: он стал участником шайки, хотя наотрез отказался лазить в чужие карманы.

— Ладно,— сказал Филин,— эту черную работу я возьму на себя. Ты по дурости еще засыпешься. Игорь у нас тоже на благородных ролях, потому, как шибко грамотный...

Напрасно полагал Толя, что жизнь его от этой увертки станет чище. За уступку Филин взял сторицей. По его настоянию Толя обязан был применять силу там, где требовали обстоятельства. Так однажды он сбил в дверях сержанта милиции, который спешил в магазин на происшествие. Догадливый сержант, падая, увлек его за собою, и тогда Толя ударил его в подбородок...

Потом он стал пить. В шайке все пили, пили только водку. «Босс» ставил это непременным условием дисциплины.

— Чем больше винного пару — тем больше смелости,— говорил он.— Все эти цинандали только мозги засоряют...

Частенько теперь Толя приходил к станку опухший, и кудри его уже не вились беспечно, как прежде, а спутались и завяли, как осенний лист.

Мать все видела, но расспрашивать боялась. В последнее время Толя стал неузнаваемо груб и раздражителен. Его сердили даже заказчицы, которые, войдя в комнату, бросали свои сумки как попало... В феврале, когда городская молодежь тронулась в степи, Толя захандрил еще больше. В его понятии это и был тот самый возможный в наши дни подвиг, пока еще отложены межзвездные полеты. Сверстники уезжали, а Толя злился. Кто пошлет его, такого? Да и не пустит его «босс», тут нечего и заикаться!

Все открылось внезапно. Засыпался Филин, и сообщить об этом прибежал на квартиру к Рогачевым перепуганный Игорь. Пока он рассказывал о провале, Толя молчал, лишь пальцы его, сжимавшие край стола, совсем побелели.

— Так, значит, ты вор?— спросила мать, когда Игорь, забыв попрощаться, побежал оповещать остальных участников шайки.

Стиснув зубы, Толя продолжал молчать. Невидящим взглядом следил он за тем, как мать, натываясь на мебель, ищет его вещи и складывает посреди комнаты. Потом она присела возле раскрытого чемодана и стала раскачивать из стороны в сторону. На сухонькой руке, утиравшей слезы, поблескивал почти никогда не снимавшийся наперсток...

На другой день, отпросившись с работы, Толя пошел в райком. Он еще не знал, как выразить свою просьбу. Смущало многое и, прежде всего, то, что он не комсомолец. Но ведь на целину едут и пожилые, переступая для этого порог райкома комсомола. Неужели у каждого из них жизнь чиста, как стеклышко? Потом эта мысль ему показалась смешной. В необжитых степях, наверное, не рай, куда пускают одних праведников. Пусть откажут — он и сам найдет туда дорогу. И наплевать ему на всякие подъемные.

В райкоме былолюдно. За кожаной дверью кабинета заседала комиссия. Толя, спросив «крайнего» и сев на диван рядом с серьезной девушкой, углубленной в книгу, стал ждать. В кармане, кроме паспорта, лежало заявление с просьбой направить его, Рогачева Анатолия Павловича, слесаря шестого разряда, беспартийного, на освоение целинных и залежных земель Сибири.

Пока очередь подвигалась к двери, Толя мучительно думал. Откровенничать с комиссией—ни к чему. Только бы спрашивали все по порядку.

За длинным столом, покрытым зеленой скатертью, сидело три человека. Самый молодой, в сером спортивном костюме, как догадался Толя, был секретарь райкома комсомола. Два остальных, видимо, представители Министерства совхозов.

— Так...—прочитав заявление, сказал секретарь райкома.— А где характеристика?

— Какая характеристика?

— Трудовая. Да и общественная.

— Так разве не видно? Слесарь. Беспартийный. 18 лет. По-моему, все ясно.

— Пока ничего не ясно. Чем, например, увлекаешься?

Толя опешил.

— Спортом, например? Или, может, танцами? Досуг как проводишь? Да что же ты молчишь?

И вдруг Толя, неожиданно для самого себя, сказал:

— В шайке я был, говариш секретарь. Впутали. Хочу вот вырваться.

— В ша-й-ке?— протянул секретарь и вопросительно посмотрел на остальных членов комиссии.— Любопытный случай. В милицию заявлял? Нет? Так ты что же, целину за исправительный дом считаешь?

Толя понурил голову. Секретарь не стыдил, не ругал его. Он просто утверждал, что Толе ехать на целину нельзя. И поскольку говорил он хорошо и плавно, а главное убедительно, Толя так и не нашел возможным вставить в его речь хоть одно словечко. Он ничего не мог сказать в свое оправдание. Разве кто поверит, что он с детства мечтал о чем-нибудь необыкновенном?..

— Значит, нельзя?— спросил Толя, когда высказались остальные члены комиссии.— Что ж, тогда пойду в другой райком. Вы форму соблюдаете, а мне жить надо.

— То-ва-рищ Рогачев!— обидчиво воскликнул секретарь, вставая, но Толя уже хлопнул дверью.

В другом райкоме повторилось почти то же самое. Только секретарь был постарше, а представители министерства помоложе. Может, поэтому между ними загорелся жаркий спор, похожий на дискуссию. Осмелевший Толя подливал масла в огонь. Он не щадил себя, выставляя в самых черных красках. Пусть они спросят, как он проводил свой досуг, чем увлекался! Разве ж не ясно, что человек окончательно погибал.

— Ну-ну,— строго остановил его секретарь.— Перебора не надо. Не на исповедь пришел. А раз ты такой настойчивый, то мы, пожалуй, подумаем. Посиди пока в приемной.

Потом его вызвали снова.

— А как у тебя насчет выпивки? Только честно.

— Пью!— сказал Толя.

— Вот видишь!

— Брошу!

— Надо бросить,— сказали члены комиссии.

— Ну, а как с твоими корешками? Так, кажется, у вас друзья-приятели называются? Ты уедешь, а шайка останется? Так, что ли?

Толя нервно комкал шапку. Это было самое неприятное,

что на него надвигалось. Но иначе было нельзя, он это понял. Нет, это не будет предательством. Ни Игорь, ни Движок, ни Филин в друзьях у него не состояли.

— Ладно,— сказал Толя.— Пишите записку в районное отделение милиции. Я туда когда-то с повинной собирался, да стыдно стало. Как раз накануне случай у меня приключился с сержантом милиции. Ударил я его. Хороший такой парень, смелый...

— Так зачем же тебе записка?

— А чтоб не забрали. Сержант меня сразу узнает.

Все трое весело рассмеялись.

— Ох, Рогачев, бедовая твоя голова... Вот что, в наказание пойдешь именно к тому сержанту. Забрать не заберут, но и не похвалят...

В ликвидации шайки Толя не участвовал, хотя и предлагал свои услуги. Работники милиции подробно расспросили, какие приметы у «босса», Движка и Игоря, и также в каком магазине они «работают». Потом от имени милиции сержант поблагодарил Толю и в знак завязавшейся дружбы попросил его новый адрес.

* * *

Как и предсказывал Степан Иванович, дорога на станцию оказалась нелегкой. Первое время грузовик ловко преодолевал заносы, потом Семен, видимо, устал крутить баранку, и трехтонка пошла тише, осторожно щупая фарами дорогу. Быстро темнело. Снег унялся как-то сразу, высветлив равнину. Кое-где стали пробиваться звезды. Толя долго следил за ними, потом ему это наскучило, и он повернулся лицом к ветру. Рядом с ним сидел неподвижно Борис, закутанный в тулуп, предназначенный на двоих, едущих наверху, однако Толя еще у конторы сказал, что к холоду он привычен. На самом деле ему, конечно, было холодно, но он не мог побороть в себе неприязненного чувства к Борису. Что если он перехватил письмо сержанта? О чем и рассказал потом Степану Ивановичу?

Из кабины доносилось нестройное пение. Толя различил приятный тенорок Сережки, несмелый баритон Олега и очень громкий фальшивый бас Семена. Пели они про степь широкую, что, безусловно, отвечало настроению каждого, хотя они и не боялись замерзнуть, как тот ямщик в степи глухой.

Сначала Толя слушал эту песню, пытаясь даже подтягивать, но, когда к нему пристроился и Борис, видимо, забывший о ссоре, сразу замолчал. Теперь он пристально смотрел на дорогу, однообразие которой казалось величавым.

Уже не в первый раз ехал Толя на станцию и все не мог надивиться простору здешних степей. Днем это радовало глаз, ночью — пугало. Выросший в многолюдном городе, То-

ля привык к частой россыпи огней, мелькавших за окнами трамвая или электрички. Здесь же, по обе стороны дороги, была глухая тьма, без единого признака жилища. Снег, снег, снег... Снежный коридор становился все выше, и предусмотрительные шоферы уже понаделали в нем разъездов. Заметив вдалеке предупреждающие щупальцы фар, Семен сворачивал в сторону и прерывистыми гудками торопил встречного. Так, уже невдалеке от станции, они разминулись с трехтонкой, беспорядочно нагруженной какими-то машинами. Из-под брезента торчала пожарная лестница. Тяжело переваливаясь на ухабах, машина проплыла мимо, как корабль, и скрылась в темноте, тревожно мигая из-под кузова красным фонариком стоп-сигнала.

— Холодно!— сказал Борис, незаметно подвигаясь к Толе.— Давай накрою тулупом.

— Обойдусь!

— Чего ты злишься? Набедокуришь, а другие виноваты.

— А что я тебе сделал?

— Мне — ничего.

Толя терпеть не мог недомолвок, а Борис, видимо, получал от этого удовольствие. Но главное — теперь не было сомнения, что письмо у него. И на черта он дал сержанту свой адрес! Милиционер, как милиционер, не хуже других и не лучше.

— Слушай, Борис... Я тут письма одного жду. Случаем, не приносили?

Борька повернулся к нему всем корпусом, и из длинного рукава тулупа высунул кулак.

— За такое знаешь, что полагается?

— Иди ты!— смутился Толя.— Спросить, что ли, нельзя?—

Подняв воротник полушубка, он повернулся к Борису боком и затих. Им овладела странная апатия. Не все ли ему равно, что о нем думают товарищи. Ведь он уже решил, что в совхозе не останется.

Темнота плотнее обступала машину. Потом снова начали свой пчелиный танец снежинки. Следя за ними, Толя задремал и очнулся от резкого толчка остановившейся машины.

— Эй, орлы!— донесся сиповатый басок Семена.— Слезай, добро грузить будем.

— Какое еще добро?

— Да вот потерял какой-то растяпа. Пожарный насос с кишкою. Еще бы малость — и замело!

На снегу возле темневшегося предмета уже топтались Олег и Сережка. Нагнувшись, Семен светил им карманным фонариком. Подошли и Толя с Борисом.

— Тю!— свистнул Борька.— Это, наверное, тот парень потерял, что с пожарной лестницей нам встретился. Вот дурак, хоть бы посмотрел, что сзади делается. Слышь, Семен, посигналь, может вернется.

— Где там!— отмахнулся Семен.— Да и откуда ты знаешь, что это именно тот парень. Теперь многие пожарный инвентарь возят. По-моему, так давно лежит, вишь, как припорошило...

Обернувшись к Серезжке, он распорядился, чтоб тот откинул борт, потом тем же приказным тоном заставил Олега взвалить насос на плечи. Но, спохватившись, что перегнул палку, пошутил:

— Вон какой чертушка, донесешь!— и вдруг заметил одиноко стоящего в стороне Толю, снова заговорил начальствующим тоном:

— А ты, старшой, что прохладжаешься? Или ночевать здесь собрался? Неси хоть шланг, что ли!

Толя машинально подхватил застывшую на снегу резину и пошел следом за ребятами, которые, шумно дыша, тянули насос к машине. А Семен почему-то все оглядывался и поторапливал.

— Ты что нас торопишь?— остановился Борька.

— Так срочный же груз, ребята! Это понимать надо. Степан Иванович торопиться велел.

Пока увязывали насос веревками, Семен бубнил о том, какие бывают на свете растяпы. Потом сделал неожиданный вывод, что в хозяйстве насос тоже может пригодиться, и что Степан Иванович поблагодарит.

— Ерунду ты порешь!— оборвал его Толя.— У вещи есть хозяин, и надо его разыскать. Давай, поехали.

Но они еще повозились с брезентом, а Семен — с заглушенным мотором. Наконец, мотор фыркнул, и шофер быстро вскочил в кабину. И в тот момент, когда машина готова была сорваться с места, вдали сверкнули фары мчавшегося грузовика. Он несся так стремительно, что издали было слышно, как лязгают цепи, как перекачивается по кузову какая-то поклажа. Непрерывный сигнал чего-то требовал и грозил.

— Ну и гонит!— сказал Олег, вступающий в разговор только в исключительных случаях.— Взбесился он, что ли?

— А может, это хозяин насоса?— обрадовался Толя. И, как бы в подтверждение его догадки, мотор снова заглох.

Чертыхаясь, Семен выскочил из кабинки и еще раз крутнул ручкой. Всем своим видом он показывал, что его не интересуют происшествия на дорогах. Ему надо ехать, сейчас же, немедленно. Но тот, мчавшийся грузовик уже был рядом и резко затормозил у самого борта. Хлопнула дверка, и в темноту выскочил человек в распахнутой телогрейке.

— Эй, хлопцы! Здесь, говорят, насос мой валяется.

— Где это здесь?— хладнокровно спросил Семен.— И кто это говорит?

— Да тут ребята наши проехали, с пожарной лестницей, видали? Догнали меня, говорят: давай задний ход, насос обро-

нил... Они бы сами его взяли, да полно у них, с верхом нагружено...

— Что же ты не привязал его хорошенько?— сказал Сережка.

— Не видали мы насоса,— отрезал Семен и, подойдя к кабине, шепотом сказал Сережке: «Помалкивай, ишь, как ловко заливает».

Между тем озабоченный шофер стал лазить по сугробам, будто груз могло снести туда ветром.

— Говорил, один не поеду, нет послали! Разве это порядок: сидишь за рулем, а сзади все вываливается. Теперь вот плати из своего кармана. Я же помню, что здесь меня трянуло. Сугробик тут приметный...

— Отдай!— нагнувшись из кузова к Семену, шепотом попросил Толя.— Его насос, слышишь?

Как ни торопился Семен, он все же подошел к кузову и принялся вполголоса разубеждать Толю:

— Да ты ему веришь, что ли? Пусть он еще докажет, что это его вещица. Видишь, проболтался, что другие сказали. Если бы это его, так он бы с ножом к горлу... Продаст, ведь, пропьет — и точка! А нам сгодится. Говорю, Степан Иванович спасибо скажет!

Олег и Борис перешептывались с другой стороны кузова. Им тоже казалось странным поведение шофера. Между тем, он залез в снег почти по грудь, так и не застегнув на ветру своей телогрейки.

— Спроси у него путевку,— посоветовал Толя,— в путевке должно быть указано.

— А ну вас!..— выругался Семен.— Мне следствие вести некогда.— И, круто повернувшись, вскочил в кабину.

Почти с места он дал первую скорость. От неожиданности Толя потерял равновесие, опрокинулся на дно кузова. Борис упал на него, и несколько мгновений они отпихивались друг от друга, собирая всех чертей. Наконец, Толе удалось подняться. Машина шла на огни приближавшейся станции.

— Стой!— заколотил Толя по верху кабины.— Стой, тебе говорят!

Ветром у него снесло шапку, но он даже не заметил этого. Им овладела ярость. Он был уверен, что парень не врет, что за потерю с него, действительно, взыщут.

— Куда ты?— испуганно вскрикнул Борис, но Толя уже оторвался от борта. Он больно ударился о накат дороги, но тут же вскочил и побежал назад — к парню. Семен остановил машину.

— Ана-то-лий!— кричали ребята.— Рога-чев!

Ветер уносил их голоса в сторону. Да если бы и слышал Толя,— все равно не остановился бы. «Вор!»— стучало в вис-

ках. Ведь он тоже тащил на себе шланг и промолчал, когда парень спрашивал о насосе.

— Э-э-й!— изо всей силы закричал Толя, чувствуя, как вязнут в снегу его ноги.— Э-й, па-рень!

Ветер слепил, не давая возможности рассмотреть что-нибудь впереди. Темнота поглощала и его.

— То-ля!— совсем близко раздалось сзади.— Толя!

Он оглянулся. Грузовик шел задним ходом, не имея возможности сделать разворота. Впереди бежал Олег, а за ним Борис с Сережкой.

— Ты что с ума сошел?— накинулся на него обычно сдержанный Олег.— Остаться в степи ночью! А если б мы уехали?

— Зачем уехали?— поправил Борис.— Никто без него не уехал бы, но получается, что сознательный — один только он.

— Вот именно!— подскочил Сережка.— Мы там, в кабине, знаешь, что ему устроили?! Чуть руль не сломали!

Из кабины доносились приглушенные ругательства.

— Да где он этот растяпа! Долго я пятиться буду?

Они нашли парня на том же месте. Он сидел на крыле машины и курил.

— Ну и шуточки у вас, ребята? Почему сразу не отдали? Казенная же вещь, понимать надо...

Не желая выдавать Семена, ребята пробормотали что-то насчет неясности положения с выдачей находок. Распаренный от быстрого бега, Толя стоял поодаль, еле переводя дыхание. Вступать в разговор ему ни с кем не хотелось. Теперь он даже стыдился своего недавнего порыва. Подумают, что он демонстрирует свою честность. Он не сомневался в порядочности Олега и Бориса, но ведь не прыгнули же они с машины. Выходило так, что будто у него не все в порядке с совестью, вот он и стремится поскорее проявить свою честность.

Занятый этими горькими размышлениями, Толя присоединился к ребятам, которые перетаскивали насос на другую машину. Хорошо, что было темно и никто не видел, как пылает его лицо, как противно дрожат руки.

Потом снова тронулись в путь. До станции было уже совсем близко. А снег все сыпал и сыпал. Борис то и дело смахивал его со своей лохматой рыжей шапки. И вдруг он рассмелся.

— А здорово ты за борт махнул! Вот уж не ожидал.

— Почему же?— вспыхнул Толя.

— Да так... Странный ты. Трезвый молчком ходишь, а выпьешь — такое о себе плетешь, слушать тошно!

— Любопытно,— пробормотал Толя.— Что ж я такого наплел?

Борис резко повернулся к нему и, близко наклонившись к лицу, впился в Толю глазами.

— Слушай, друг, брось ты прикидываться! Ты нам свою

биографию с первого вечера выложил. Ну, оступился, так что же теперь. Не на всю же жизнь!— А водку брось! Плохое это занятие. Степан Иванович на заметку тебя взял.

Толя от неожиданности или от счастья, что все так просто разрешилось, сразу не нашелся, что сказать. Потом буркнул: — Ладно, брошу...

Снег перестал так же внезапно, как и начался. Ветер разогнал облака, оставив в высоте отчетливый острогорый месяц. И была в небе такая глубокая искристая синева, как в только что застывшем озере.

И вдруг Толе показалось, что все это когда-то было: и эта синяя ночь, и ветер, и сонные птицы, взлетающие из-под колес машины, что живет он здесь давно, и ему недостает только матери, которой надоели и заказчицы и тусклый наперсток на среднем пальце.

Пронзительный свисток паровоза оборвал его дремоту. Подъезжали к станции.

ВЫСОКАЯ ВОДА

Пароход где-то задерживался. Его ждали утром, но он не пришел и к полудню. Когда спрашивали о причине его опоздания у начальника пристани, тот отвечал, что весной график соблюдать трудно, и показывал на вздувшуюся реку.

День был голубой и холодный. Дул переменный ветер: то влажный — с реки, то суховато-горький — из степей. И тогда под его напором вода еще больше выпирала из берегов, и пенные волны, перекатываясь, стремительно неслись вниз, к морю.

Пассажиры, устав ждать, бродили по гранитному молу, любовались видневшейся вдали плотинной и городом, — белым, не по-степному высоким и строгим. Шли разговоры о новой плотине, которую уже строят в низовьях Днепра, и о новом городе, заложенном там же. Большинство пассажиров туда и ехало — на стройку, все с багажом, деловитые, озабоченные люди.

Пароход появился только к вечеру. Он заявил о себе нетерпеливыми гудками, словно просил поторапливаться. В зале ожидания поднялась суматоха. У кассы выросла очередь.

Впереди меня оказался высокий парень в шинели. Мало того, что он загораживал табличку свободных мест, он еще и вертелся все время, ободряюще кивая своей спутнице, которая сидела на скамейке в окружении четырех чемоданов и совсем не думала волноваться. Простенькая, в черном жакете, топорщившимся на ее груди, в клетчатом полушалке, она спокойно лузгала семечки, поглядывая на свои пожитки. Ничего примечательного в ней не было, разве только новые, ослепительно сияющие на солнце резиновые сапожки.

— Два до Каховки! — сказал парень, протягивая деньги в кассу. — Только, пожалуйста, каюту!

Он был так взволнован, что позабыл сдачу и вернулся за ней только по настойчивому окрику кассирши. Очередь была тоже недовольна: переживали за каждую минуту промедления.

— Это я от радости!— объяснил парень. — Думал, что сегодня не уедем. Мне-то ладно, я ко всему привычный, а вот жена...

Никто его не слушал. У каждого были свои заботы.

Я тоже ехала до Каховки, и когда по трапу взошла на пароход, то оказалась в одной каюте с забывчивым парнем и его супругой. Кроме них ехала еще старушка и кто-то еще пятый.

— А где же мое место?— спросила я у пассажиров.

— Здесь, здесь, голубка!— сказала старушка, показывая на верхнюю полку.— Чемоданчик это Леночкин. Ей с полчаса осталось. Сойдет — и твое местечко. Она так и велела — продать его, потому что уже дома себя считает. Славная такая дамочка, уважительная...

Но видя, что я не собираюсь наверх, старушка подвинулась, давая мне место рядом с собою. Также сделала и супруга суматошного пассажира, блеснув своими новыми сапожками.

— Подвинься, Гриша!

Я села и стала смотреть в окно. Пароход еще стоял. В его тени у берега вода казалась совсем черной. Вон и речной вокзал, с красным флажком на шпиле. Ветер повернул его в ту же сторону, куда неслись и волны — к морю. Долгие часы ожидания придали всему однообразию, и я перевела взгляд с реки на лица моих попутчиков.

Итак, парня в шинели звали Гришей. Чувствовалось, что он заботливый и нежный муж. Пока они закусывали, разложив еду на салфетке, он все время подвигал жене то хлеб, то яйца, то вареное мясо.

Но она брала только хлеб и круто посыпала его солью. У женщины был красивый выпуклый лоб, который стал заметен сразу, как только она сняла полушалок. Держалась она по-прежнему очень спокойно. А Гриша, наоборот, был весь захвачен дорогой. Узнав, что старушка бывала когда-то в этих местах, он принялся расспрашивать ее о Каховке, хотя бабушкины сведения были тридцатилетней давности.

— Ты лучше Леночку поспрашивай, Леночка здешняя... Вот пойдет в каюту — и поговори. Она фронтовичка — в армии была...

Услышав про армию, Гриша приосанился. Видимо, демобилизовался совсем недавно. Он не расстался еще ни с гимнастеркой, ни с галифе. Даже заправочка осталась в нем армейская: под ремень пальца не просунешь. Несмотря на дорожные неудобства и долгие ожидания на станции, он был свежеевыбрит.

Завязался непринужденный дорожный разговор. Мне кажется, даже лгуны говорят в дороге правду. Какая бы она ни была — в дороге с нее не спросится. Люди текут и текут, как река, и все уносят с собою, кто бы что ни сказал.

Заглянула буфетчица, предложив чаю. Старушка обрадова-

лась ему, как ребенок. Дома она, наверное, без конца ставила самовар, изыскивая к тому всякие предлоги: свежие булки, гостинцы, иногда просто для благодушия. Она и теперь выставила на стол подорожники, несколько сортов варенья в стеклянных и пластмассовых банках. Мы пробовали отказаться от ее угощения, но она восприняла это, как личную обиду. Тогда Гриша уравнивал бабушкины паи коробкой консервов, и чаепитие началось.

Бабушка расспросила, кто откуда, и объявила, что сама она едет к сыну Петеньке, который обучается на корабле в Херсоне.

— Вся наша фамилия, как есть, сухопутная: отец столярничал, деды тем же промышляли. А у Петеньки к морю пристрастие.

— Посмотреть бы хоть, что за море!— вздохнула молодая.

— Посмотришь, Феня!— заверил супругу Гриша.— Тут до моря близко.

— А до дому далеко! — отозвалась Феня.

Они были костромичи, с речки Унжи. Места, по их рассказам, там тихие, лесные. Веснами по реке сплавляют лес. Гриша работал лесорубом, впрочем, еще до армии, а потом приехал на Унжу только за Феней.

Наше чаепитие подходило к концу, когда в каюту вошла дородная дама в широкополой шляпе. Серое в обтяжку платье говорило о том, что обладательница его полнеть не собиралась, но, в силу возраста, пришлось, и как-то довольно неожиданно.

— Здравствуйте!— приветливо сказала дама.

— Вот и наша Леночка!— заулыбалась старушка.— И все-то она на палубе красуется. Почитай, от самого Киева. Садись чайку отведать.

— Да ведь я уже пила. Впрочем, разве для компании...

Она присела на койку и принялась за угощение. Губы у нее были полные, розовые. Низкие поля шляпы заслоняли ее глаза, скрывали волосы, но судя по цвету кожи, она была блондинкой. Мысленно я сравнивала ее с теми фронтовичками, которых знала. Одна из них до сих пор время от времени надевала свою офицерскую гимнастерку, и тогда мы, обыкновенные женщины, никогда не нюхавшие порох, смотрели на нее с благоговением. Особый интерес вызывали у нас ее награды, но Мария, как звали ту женщину, ничего не рассказывала о войне. Слишком много было потеряно у нее друзей и боевых товарищей.

— Ужасно волнуюсь,— сказала Леночка.— Сейчас пойдут мои родные места.

— Домой едете?

— К свекрови.

— А что ж не с мужем? Впрочем, простите, может быть, он...

— Нет, нет,— успокоила меня Леночка.— Он жив. Но как его повезешь? Посудите сами — на костылях!..

— Ах, что эта война делает!— начала сокрушаться старушка, но Леночка тронула ее рукою.

— Налейте мне еще, что-то разохотилась.

С первой же минуты, как она вошла, Гриша все время пыривался завести с нею разговор о Каховке. Даже Феня, чуть побледневшая от качки, смотрела на Леночку с нескрываемым ожиданием. Но то, что сказала она о своем муже, естественно, исключало праздные вопросы. Гриша это понял. Он выждал, не скажет ли пассажирка что-нибудь еще о своих семейных делах, но Леночка аппетитно грызла бабушкин кренделек своими острыми и мелкими, как у мышонка, зубами. Во всей ее дородной фигуре было разлитое какое-то удивительное спокойствие. Тогда Гриша, предварительно извинившись, спросил ее, как давно она была здесь в последний раз.

— Да с войны и не была. Даже сама не знаю почему. Как-то не тянуло. Больше всего заскучать боялась. Как ни говорите,— село. А тут стройка началась, оживление. О Каховке столько говорят теперь. Дай, думаю, поеду. Да и муж просит, чтоб за матерью его съездила. Давно просит.

— Как же это вы о родном доме не скучаете?—удивилась Феня. — Неужто совсем отвыкли?

Недоумевая, она повернулась к своему Грише и даже развела руками. Но тот едва заметным движением бровей попросил ее повременить с выводами.

— Ты ее, милоч, не поняла,— вступилась старушка.— Тут не в скуке дело. Горя у нее здесь много принято, вот почему не тянет на родные места. Сама посуди: дядю на глазах застрелили, мать чужие люди упокоили, дом разорили. Тут камня на камне не осталось — к чему ей рваться-то?

Леночка согласно кивала головой.

— Да,— сказала она,— вспомнишь, что пережито—страшно делается.

Феня пристыженно теребила кончик полшалка.

— Может, вы расскажете нам, как все это произошло?— вежливо попросил Гриша.

— Да что тут рассказывать? Известно, что пережили жители фронтовой полосы,— начала Леночка.— Правда, у меня все погорше было. Представьте себе девчонку восемнадцати лет. В голове танцульки да мальчишки. Ходим вечерами у Днепра и мечтаем, кто кем будет. А кругом сады белые-пребелые. В тот год особенно много цвету было. А в небе — ни облачка. Вдруг война! Мальчишки мои на фронт, на самую передовую угодили. Мало кто из них потом вернулся. А мы с мамой вдвоем жили. Слышим, фронт близко. Она говорит: «Беги!» А куда бежать? В степи не убежишь. Подумали-подумали, решили, что надо на тот берег, к Каховке, перебраться. Мать говорит:

«Каховку не должны отдать». А сама уже никуда не может, с испугу совсем расхворалась... Ну, попросили дядю Степана перевезти меня через Днепр. Это уж в последние часы перед немцами. Попрощалась я с мамой, поплакала, и в лодку. Плы-
дем, а фашистские пули — над нами. Оба весла перебило. А когда дядя обратно плыл, то и его... Вижу, кру-
жится лодка на быстрине, а дядя, как с похмелья, голову ру-
ками захватил, да так и не распрямился. Покричала я на бере-
гу, поплакала да и пошла, куда глаза глядят. Разведчиков
наших повстречала. Они меня и в часть привели, как подозри-
тельную. Однако там скоро разобрались и даже работу дали —
машинисткой стала. Только с мамой мне уже не довелось сви-
деться. Умерла она. Ей кто-то сказал, что возле Каховки де-
вушка на берегу лежит убитая, точь-в-точь на меня похожа:
косы длинные и на виске родинка. Вот она и подумала, что
это я, а больному сердцу много ли надо?

Леночка рассказывала неторопливо, ровным голосом и руки
ее, лежащие на коленях, тоже были спокойны. Шляпа по-
прежнему прикрывала ее лицо до половины, так что не было
возможности увидеть ни примечательные косы, ни родинку
на виске. Феня смотрела на нее затуманенными грустными
глазами. Старушка сморкалась. Гриша о чем-то думал.

— А с мужем-то, милоч, где познакомились?

— Он, бабуся, наш односельчанин. В части повстречала. До
ранения ловкий был, красивый...

Здесь в ее голосе прозвучала нескрываемая горечь. Горь-
ко было и нам. Нетрудно угадать, что скрывалось за такими
словами жены: «до войны ловкий был, красивый»...

— С кем же ты его оставила, мужа-то? — спросила ста-
рушка.

— Да ни с кем. Не могу же я всю жизнь в няньках. Нака-
зала в столовую ходить. Это рядом.

Гриша выпрямился и насторожился. Нам тоже стало
неловко. Но Леночка вдруг рассмеялась. Однако смех ее в
тишине какоты прозвучал неестественно.

— Вот и на работе так же: скажу что-нибудь про мужа —
все на меня и уставятся. А я просто не те слова говорю... Бы-
вает так, правда? Вот рассказала вам: на костылях, то, дру-
гое. Можно подумать, что совсем без ног. А у него обе при се-
бе, только не очень действуют. Ну и ловкости, конечно, нет. Как
ни говорите, ранение. Он у меня сам по магазинам ходит, до-
ма все приберет. Я даже ничего и не делаю. Приду с работы —
и отдыхать.

— Ну, ну, — радостно закивала старушка. — Это, конечно,
бывает, что и не то слово скажешь.

Однако разговор прервался. Где-то близко работала маши-
на, двигавшая наш пароход. Весь его корпус глухо содрогался.
В чайном стакане позвякивала ложка. Вскоре этот тонкий жа-

лобный звук стал таким надоедливым, что Гриша убрал ложку. Тогда стало слышно, как журчит вода.

— Ну и половодье!— вздохнула старушка.— Великая сила в реке.

Наплыли низкие своды моста. В каюте сразу поубавилось света. В открытое окно пахнуло сыростью.

— Надо пойти наверх!— сказала Леночка.— Здесь, как в подземелье.

— Пойди, пойди, милоч,— согласилась старушка.— Покрасуйся!

Нет, мы не воспользовались отсутствием пассажирки, чтобы начать о ней пересуды. Да и за что ее судить? За то, что она не переносит скуки? Или за равнодушие к мужу, которого мы не знаем. Но даже если и повинна она в двух этих грехах, то все извинялось ей за простодушную откровенность характера. Она не выставляла себя ни героиней, ни страдальцей. Какая была, такой себя и показывала.

Прибрав со стола, старушка задремала. Ей было еще далеко. Зато мне и моим попутчикам уже не имело смысла забираться на верхние полки. Еще часок, другой и — Каховка. Гриша опять стал нетерпеливо посматривать в окно и, наверное, охотно пошел бы наверх, если бы не Феня. Ей, кажется, нездоровилось. Она лежала бледная, с посиневшими губами и настойчиво просила Гришу где-нибудь раздобыть ей огурчика.

— Горе ты мое,— вздохнул Гриша.— Ну, зачем со мной поехала? Пожила бы пока у матери. У нее огурцов целая кадка. А где я тебе на стройке огурцов возьму? Тут еще с квартирой неизвестно, как будет.

— Как будет, так и ладно!— сердито сказала Феня.— Знаю, куда едем!

Чтоб не мешать им, я вышла. Пассажиры стояли у перил, глядя в пенистую воду. Мост остался далеко позади. Теперь мы шли мимо большого села в белом кипене садов. Паводок был настолько сильным, что нижние улицы оказались в плену реки. Весеннее солнце играло на железных крышах, и они тоже как бы плыли вслед за нами.

Машина почти смолкла, пароход плыл по течению.

— Малый!.. Малый!..— слышалось из капитанской рубки.

Пароход шел настолько медленно, что его обгоняли волны — короткие и частые, с белым гребнем на желтой, злой воде.

— Малый!.. Малый!..— повторял капитан.

И вдруг воздух прорезал пронзительный крик.

— Провода! Провода!

Потом крик еще — уже другой, короткий, заячий, и все смолкло. Широкая труба парохода медленно кренилась назад. Подскочивший матрос успел что-то приподнять над нею, и она

тут же выпрямилась. Но все, кто был на палубе, смотрели не на трубу, а на ящики, стоящие подле, между которыми лежало что-то большое и серое.

— Да поднимите же!— требовали пассажирки. — Женщина упала!

Это была наша Леночка, только что стоявшая на самом высоком ящике. Упала она больше от страха, когда крикнули, что надвигаются провода, нежели от самого их прикосновения, но упала неловко, оцарапав себе коленку. Всхлипывая, она присела на палубную скамейку и ее тут же окружили сочувствующие.

— Ударились?— спрашивали ее со всех сторон.— И зачем это вы на ящик взобрались? Матросы все время предупреждали...

— Никто меня не предупреждал...

— А еще говорите здешняя, выросли на реке. Когда большая вода, — разве можно?..

Подошла буфетчица и, узнав в чем дело, тут же предложила свои услуги.

— Хотите платьице отглажу? Пятнышко затру. Это пустяки, не плачьте. Просто испугались.

Она взяла Леночку, все еще дрожащую от страха, под руку и повела ее вниз.

Следом за ними пошла и я.

— Позовите мне капитана!— слабым голосом попросила наша пассажирка, как только вошла в каюту.

Появление прихрамывающей, заплаканной Леночки вызвало в нашей каюте целый переполох. Старушка принялась охать и ужасаться. Феня побежала за бинтом и тут же вернулась с фельдшерицей. Леночку уложили на койку и попробовали снять с нее разорванный чулок.

— Нет, нет!— запротестовала она.— Это же вещественное доказательство. Пусть сначала придет капитан.

— Доказательство чего?— удивилась фельдшерица.

— Того, что я пострадала на вашем пароходе. Еще неизвестно, чем это может кончиться. Вдруг заражение крови?— Леночка всхлипнула.

— Полноте, это всего только царапина.

— Нет, нет!— Леночка поспешно села, отстранив от себя фельдшерицу.

Когда та, пожав плечами, вышла из каюты, обещав пригласить капитана, как только он освободится, Леночка принялась извлекать халат, чтобы переодеться. Гришу выставили за дверь.

— Меня могло убить,— жаловалась Леночка, с трудом освобождая свое тело из тесного платья.— Представляете, проводом по груди? Уцелеть на фронте и сложить свою голову на каком-то глупом пароходе!

— Да ведь вас не задело,— сказала я.— Вы упали от страха, когда крикнули, что близко провод.

— Нет, задело!— заупрямилась Леночка.— Разве я не знаю, задело или не задело,— и уже к буфетчице:— Вот платье, только не сожгите, это очень дорогая материя.

Без шляпы и тесного платья она казалась проще, но мои ожидания, что под полями шляпы скрываются милые нежные глаза, оказались напрасными. Это были кукольные, пустоватые глаза. Напрасно искала я примечательную родинку, о которой упоминала Леночка в своем рассказе. Не было у нее такой родинки!

Между тем, Леночка продолжала сообщать нам о себе все новые и новые подробности, и я уже перестала разбирать, что у нее правда, что выдумка.

— Когда я поехала в отпуск, мой заведующий так просил меня беречь себя! Если б только он знал! Пожалуй, ему лучше и не рассказывать.

— Какой заведующий?— простодушно поинтересовалась старушка.— Муж твой, что ли?

Леночка не успела ответить, так как в каюту, вместе с Гришей, который так волновался за нашу пассажирку, вошел капитан. Это был пожилой коренастый человек, с суровым обветренным лицом. Под черной фуражкой особенно выделялись белые виски.

— Чем могу служить?

Леночка поспешно захлопнула халат, придала лицу гневное выражение.

— Вы понимаете, что у вас тут происходит? Настоящее безобразие! Едешь отдыхать, а можешь попасть в могилу. Я была на фронте, вот,— она извлекла из сумочки какие-то справки и протянула их капитану.— Нет, нет, вы читайте, читайте, пожалуйста!

Не дотрагиваясь до справок, капитан смотрел на нее насмешливо и строго.

— Простите, я не понимаю... Зачем мне ваши справки?

— Чтоб вы имели представление с пассажирах. Не все же здесь едут на стройку. Есть и такие, которые...

Она сбилась и замолчала. Феня по-детски раскрыла рот, Гриша нахмурился.

— Я тороплюсь,— напомнил капитан.— Зачем вы меня звали? И что, собственно, с вами случилось? По-моему, вы живы и здоровы. Зачем сгущать краски, смертью здесь даже и не пахло.

Леночка кусала губы. В руке ее все еще были зажаты справки. Потом она аккуратно сложила их и спрятала в сумочку.

— Я жду,— сказал капитан, выразительно посмотрев на свои часы.

Ждали и мы. В самом деле, чего хотела она от этого пожилого, очевидно заслуженного человека?

— Я пригласила вас, капитан,— медленно, словно обдумывая слова, начала Леночка,— вот по какому вопросу. При падении я разорвала чулки, понимаете? В нашем селе вряд ли найдешь то, что надо. А мне неудобно перед свекровью, что она подумает обо мне? Не виделись столько лет и вдруг приеду в порванных чулках... Одним словом, не сочтите мою просьбу за оскорбление. Право же, у меня нет другого выхода. Вы ведь до Херсона, правда? Там-то уж наверняка есть. Только скажите, когда вас ожидать обратно. Я выйду к пристани и вы мне их вручите?

— Чулки?— словно не веря себе, переспросил капитан.

— Ну-да!— подтвердила Леночка.— Ведь я не выдумываю, они действительно порваны. И на вашем пароходе.

Феня всплеснула руками и замерла. Взгляд ее был прикован к седине капитана, которая особенно стала заметна, когда он, разговаривая с пассажиркой, снял фуражку. Старушка тоже смотрела на него с нескрываемым сочувствием. Он это понял и усмехнулся. Потом медленно, с достоинством надел фуражку.

— Ну, не сердитесь!— стала просить Леночка, сложив на груди пухлые руки. — Что же здесь такого? Ведь вам не трудно. Я имела глупость не взять с собою запасные.

Наступила короткая пауза. На лице капитана блуждала презрительная улыбка. Он о чем-то думал. Может о том, какие разные люди встречаются на этой сильной реке. Едут хорошие люди и плохие, с замыслами высокими, и вовсе без замыслов, как едет, наверное, эта женщина...

— Хорошо. Я куплю вам чулки. На вашей пристани парод будет в среду утром.

После его ухода все долго молчали. Леночке принесли разутюженное платье, и она, слегка поворчав, стала переодеваться. На полном розовом лице — ни тени смущения. Пустоватые кукольные глаза наполнились улыбкой.

— Свекровь меня не узнает. После войны я была такая худенькая, ходила в шинели и сапожках. Одолевали всякие заботы, а теперь все хорошо, если не считать, что муж на инвалидности. Он так бережет меня! И начальство у меня тоже заботливое...

— Старый заведующий-то?— грубовато спросила Феня.

— Не очень...

— Какой заведующий?— встрепенулся Гриша, который в связи с переодеваниями большую часть времени находился за дверью и потому, естественно, не слышал этой подробности в леночкиной биографии. Но никто не ответил на его вопрос. Леночка потому, что, наконец, сообразила, как далеко зашла ее болтливость, а мы из чувства отвращения к этой глупой и

лживой женщине. Да, ей хотелось быть лучше, чем она была на самом деле. Теперь мы понимали, что трогательная история, рассказанная ею вначале, придумана.

Хриплый гудок оповестил о приближении пристани. Леночка поднялась. Широкополая шляпа по-прежнему скрывала ее лицо до половины. Серое платье сидело, как влитое, на руке — цветной шелковый плащ.

— Счастливо оставаться! — щебетала наша пассажирка. — Может, когда еще встретимся...

Мы напряженно молчали.

М О С Т И К

Последний мешок с зерном забросили в кузов, закрыли борта, и счетовод колхоза, старичок Иван Семенович, крикнув, полез наверх.

К машине подошел председатель колхоза Степан Андреевич. На нем был поношенный армейский китель, туго сидевший на плотной, немного грузной фигуре, сапоги, осыпанные пылью и хлебной мякиной. Он, по-хозяйски, пытливым взглядом покрасневших от недосыпания глаз, окинул нагруженную хлебом машину и сказал шоферу:

— Ну, Сергей, значит последний взнос везешь сегодня!

Стоявший у машины молодой парень, в лихо сбитой на за-тылок кепке, с готовностью ответил:

— Последний, Степан Андреевич! Досрочно нынче рассчитались. Пожалуй, дней на десять раньше прошлогоднего.

— Верно. Ты, Сергей, тоже не подкачал.

— Наше дело — возить, — смутился шофер.

— Не скромничай. Работал, что надо. Пирятина вон, как нынче обогнал.

— Да ведь у него авария была с машиной, Степан Андреевич!

— Авария... а у тебя-то ее не было... Ладно, ладно, знаю, вы, шофера, все такие: промеж себя, как петухи, а третий не задевай. Я ведь это не к тому. Ты не задерживайся, как сдашь хлеб, — сразу обратно. Иван Семенович сам все бумаги оформит и после на попутной вернется. Сегодня у нас в клубе собрание и тебе там обязательно быть надо, Ну, поезжай!

Машина, набирая скорость, двинулась по улице деревни. Вечерело. Осеннее небо обещало дождь. Накатанная дорога серой лентой уходила далеко вперед. Улица была пустынной. Одного только человека заметил Сергей — Лушу: босоногая, с букетиком голубых, под цвет глаз, незабудок в руке, девушка поджидала машину.

— Сережа!— крикнула она, подбегая.— Ты на станцию, и сегодня же домой?

— Конечно. А что?

— Не забудь, сегодня в клубе...

— Ждать меня будешь? Да?— Сергей в упор заглянул в Лушины глаза.

Луша кивнула головой, покраснела.

Сергей довольно засмеялся, включил газ. Минут сорок он гнал машину, не сбавляя ходу. Все было хорошо. На дороге знаком каждый кустик, каждый камешек. До хлебосдаточного пункта час — два езды, успеет, сдаст хлеб, а потом домой, к Луше.

Быстро проносились мимо придорожные кусты, дальний лес темной зубчатой стеной медленно отходил назад. Стало темнеть. Пришлось включить свет. Дорога блестела яркими бликами. Шел дождь, мелкий, частый.

«Может быть, остановиться и позвать сюда, в кабину, Ивана Семеновича? Промокнет старик наверху. Только едва ли пойдет он от зерна... Надо спешить, пока дорога не испортилась совсем...»

У развилки, где справа на шоссе выходила дорога из соседнего колхоза, Сергей, притормозив слегка, мигнул светом и дал гудок. Но впереди по-прежнему никого не было, и он снова прибавил скорость.

«Что-то не видать Василия Ивановича, наверное, уже проехал»,— подумал Сергей.

Василий Пирятин, шофер из соседнего колхоза, был ему старшим товарищем и другом. Опытный водитель, бывший фронтовик, он охотно помогал молодому шоферу, окончившему курсы, на первых порах освоить нелегкое шоферское дело.

Три года назад началось между ними соревнование. В первый год Пирятин обогнал Сергея. Второй год они проработали с равными показателями. А нынче не повезло Василию: получилась серьезная поломка машины, и он простоял на ремонте неделю. Вот Сергей поэтому и вырвался вперед.

...Дорога пошла под уклон. Скоро ложок, через него мостик, проехать его, взять подъем — и дальше снова ровный путь. Сергей, тормозя машину, медленно вел ее по спуску. Вот и мостик. Газ! Автомобиль рванулся вперед, застучал деревянный настил. Еще газ! Вдруг что-то хрустнуло под правым передним колесом, машину встряхнуло, бросило влево. Шофер притормозил. Нет, кажется, все в порядке — вперед! Но скорость уже потеряна, забуксовали на подъеме колеса, и машина, медленно пятясь, сползла обратно на мост. Стоп! Иван Семенович слез вниз. Он в плаще, хлеб надежно укрыл брезентом — все предусмотрено на случай дождя.

— Кажется, сели?— сказал он Сергею.

— Похоже, что так,— хмуро ответил тот.

Оба молча пошли к мостику. Что же помешало переезду? А вот! Круглое, сломанное пополам полено лежит на настиле. Кто-то ехал с дровами и обронил кругляш. Пинком ноги Сергей сбросил полено вниз, в темноту.

— Что же будем делать?— спросил Иван Семенович.

— Попробуем выбраться,— коротко ответил Сергей.

Он снова сел за руль и завел мотор. Медленно двинулась машина назад, беря разгон, потом пошла вперед все быстрее и быстрее. Вот она полезла на скользкий подъем, но подъему мешал тяжелый груз. Секунду машина стояла на месте, буксуя колесами, и.. снова отступила на мост. Из кузова выпрыгнул Иван Семенович. Он пытался подтолкнуть машину... Напрасные усилия! Сергей вышел из кабины. Оба задумались.

Что делать? Даже нечего подложить под колеса: лес далеко. Сергею стало жарко. Он снял кепку, но холодные капли не освежили его разгоряченного лица — дождь неожиданно унялся. Может быть, дожждаться, когда ветер высушит дорогу? А когда это будет? А если снова пойдет дождь? Между тем, время идет. Часов в девять, наверное, начнется собрание в колхозе. Председатель, Степан Андреевич, доложит собравшимся о досрочном выполнении колхозом плана хлебосдачи, а хлеб... Разве еще попытаться?

И вдруг где-то впереди неподалеку просигналил автомобильный гудок. Сергей поспешно надел кепку и молча побежал в гору. Может случиться самое страшное: встречная машина, не слушая тормоза на скользком грунте, с разгону налетит на его «ГАЗ»... Скорее, скорее! Луч света, вырвавшийся из темноты, ослепил его. Сергей зажмурил глаза и, раскинув руки, остановился посреди дороги. Он услышал скрип тормозов, взволнованный голос:

— В чем дело?

Голос Сергей узнал сразу: Пирятин.

— Сережа? Что случилось?— встревоженно спросил тот.

Сергей коротко рассказал ему все.

— Хм... бывает,— задумчиво произнес Василий Иванович.— Ну, ничего! Вылезем!

Пирятин развернул свою машину и мастерски спустил ее задним ходом на мостик. Потом они втроем перенесли половину мешков с хлебом на автомобиль Василия, а затем, забрав лопаты, залезли под мостик и, накопав там сухого песка, усыпали им дорогу на подъеме. Первым повел свою машину Пирятин. Он сел за руль и, крикнув Сергею: «Не отставай!», двинулся вперед.

Машина с небольшого разгона сразу пошла на подъем. Полетел песок из-под колес, шумно заработал мотор, метр за метром, все увереннее и быстрее, машина продвигалась вперед.

— Пошла, пошла!— обрадовался Сергей.

Вскоре обе машины, остервенело гудя моторами, взяли подъем. И, когда выехали наконец на ровную дорогу, друзья облегченно вздохнули — победа одержана. Они вышли из кабин и закурили. Подошел Иван Семенович и, блеснув в темноте стеклышками очков, сказал:

— Ну и ребята! Молодцы!

— Иван Семенович! — Сергей бросил окурок, — надо перегружать хлеб.

— Обратно, Сергей?

— Ну да. Пошли!

— Пстой, Серега! — остановил его Пирятин, — зачем время терять? Давай вперед, за мной.

— Тебе же домой, в колхоз.

— Знаю. Садись!

Через минуту они вместе ехали на станцию. Сергей вел машину и злился на себя: «Из-за меня товарищ время теряет золотое. Стыд какой! А, по правде говоря, сидеть бы мне там до утра, если бы не Василий!»

Было девять часов, когда приехали на ссыпной пункт. Иван Семенович остался у весов сдавать хлеб, а Сергей с Василием прошли в контору, к приемщику.

Друзья сели на скамейку в пустой маленькой комнате и закурили. Помолчали немного. Первым заговорил Пирятин:

— Последний хлеб по поставкам привез? — спросил он.

— Да, — ответил Сергей.

— Молодцы! Досрочно справились.

— Что? — не понял Сергей.

— Молодцы, говорю, у вас в колхозе. И у нас с уборкой тоже вовремя успели, только вот со сдачей задержались малость.

— Много еще возить?

— Да, пожалуй, раза четыре мне обернуться придется. С ремонтом я подкачал.

— А тут еще я... — Сергей наклонил голову, с досадой погасил папиросу.

Пирятин сидел, прислонясь к стене, спокойным взглядом чуть прищуренных глаз смотрел на желтый огонек керосиновой лампы. Пальцы его крепко сжимали дымящуюся цыгарку, по щеке чуть заметно двигались желваки.

— Ничего, успею — нагоню, — сказал Василий, вставая, — а ты, парень, не куксись — в нашей работе всякое бывает.

Они вышли во двор и подошли к своим разгруженным машинам. Пирятин первым выехал за ворота, он ходко вел свою машину. Притормаживая на поворотах, Василий гнал ее по прямой на большой скорости.

— Торопится дружище! — подумал о нем Сергей. — Ему сегодня снова надо ехать на станцию с хлебом. А мне? Дома,

в клубе, конечно, уже идет собрание. Луша уже там, сидит и все поглядывает на дверь — ожидает. Эх!..»

Сергей прибавил скорость.

Впереди Пирятин просигналил гудком. Начался спуск. Вот снова тот самый ложок. Машины спустились подуклон, прошумели по мостику и, легко взяв подъем, покатались по ровной дороге.

Доехали до развилки. Пирятин остановил свою машину и вышел из кабинки. Остановился и Сергей.

— Ну пока, Серега!—Василий протянул на прощание руку.

— А я с тобой, Василий Иванович,— просто сказал Сергей.

— Со мной? А домой когда же?

— Домой еще успею. Ты ведь сейчас же обратно на станцию с хлебом поедешь?

— Поеду, конечно..

— Ну вот, оба погрузимся у вас и вместе махнем на сыпной. Горючего бы только мне добавить.

— Горючего? Горючего хоть тонну найдем! Вместе так вместе. Поехали, друг!..

Прояснило. Яркие звезды зажглись на небе. По лесной проселочной дороге быстро мчались две машины и, влад гудя моторами, все набирали и набирали скорость.

ГЕРАНИ ЦВЕТУТ НЕ ПЕРЕСТАВАЯ

Феньку Лукашеву подруги считали взбалмошной. Девушкам казалось, что Фенька смотрит на жизнь легко, просто. Помнится, она и мужа выбирала себе со смехом, с шуткой, а когда через полгода поняла: не тот — не вздохнув, выпроводила его из дома и никогда не вспоминала о нем.

Работала Фенька на животноводческой ферме приемщицей молока. Ни до замужества, ни после она не отчисляла себя от девушек-доярок, делилась с ними впечатлениями о новых увлечениях, потешалась над неудачливыми «ухажорами». Доярки смеялись над Фенькой, перемывали косточки ее новой жертве. И сама Фенька смеялась вместе с подругами над застенчивостью, робостью парня, с которым только вчера «бродила» ночью по притихшим деревенским улицам, или стояла у ворот своего дома и целовалась до «чертиков». Часто подруги стыдили молодую приемщицу, пытались ее усостыдить, а доярки постарше ругали ее самыми обидными словами, но Фенька не унималась. Она оставалась такой, какой пришла на ферму: беззаботной, со смешинкой в глазу, с веселой шуткой, готовой выпорхнуть из груди в любую минуту.

Однако этой весной доярки начали примечать в Феньке перемену. Она все меньше и меньше рассказывала о своих новых увлечениях, а порой становилась такой замкнутой, что нельзя было добиться слова. Девушкам даже казалось, что Фенька похудела, осунулась. Красивое лицо ее не светило улыбкой, и на пунцовых щеках не появлялось очаровательных ямочек, которые лучше всякого барометра рассказывали о ее душевном состоянии. Какое-то время подруги приставали с распросами, но Фенька отмалчивалась. Насколько она могла быть болтливой, настолько, оказывается, умела вести себя сдержанно.

О том, что в характере бесшабашной девчонки происходит какая-то перемена, Феньке не хотелось признаться самой себе. «Со временем все сгладится», — думала она. Но проходили

дни, недели, а это что-то новое, непонятное, доселе не испытанное не проходило...

Началось все с обычной встречи, которой Фенька не придавала вначале никакого внимания: мало ли она встречалась с людьми! Однако эта встреча оказалась для нее особенной...

В апреле, когда на снегу появляются проталины и воздух становится каким-то теплым и влажным, точно его настояли на хвое, к ним в деревню приехал из МТС инженер по механизации трудоемких работ на животноводческой ферме. Фенька в тот день дежурила в красном уголке животноводов. Дежурство ее подходило к концу, и она уже подумывала закрывать комнату, но побаивалась заведующей фермы: не рано ли? Как раз в это время задребезжал телефонный звонок. Услышав в трубке старческий голос бухгалтера колхоза Евсеича, Фенька поняла: приехал «трудоемкий механик». Поспешно закрыв красный уголок, она выскочила на улицу, послала молоденькую телятницу Шурку Пестрикову к заведующей фермой, а сама пошла в правление колхоза встретить гостя.

С инженером Фенька встретилась неожиданно. Он стоял на крыльце и курил. Фенька, увидев его, замешкалась и не знала, следует ли ей проходить в контору.

— Здравствуйте!— проговорила она, окинув незнакомца пристальным взглядом.

Инженер поздоровался.

— Это за вами меня послали?

— Вот уж этого я не знаю,— рассмеялся он, и Фенька заметила: глаза у приезжего смотрят до того пристально, что ей сделалось немножко не по себе.

— Вы механик?.. Или, может, я ошибаюсь?

— А вы заведующая фермой?— спросил в свою очередь инженер.

— Нет. Я — приемщица. Заведующая сейчас придет на ферму. За ней убсжали.

— Ну что же, давайте знакомиться, товарищ приемщица,— инженер спустился с крыльца и отрекомендовался.

Звали его Павел Иванович Храбров.

Ощувив легкое пожатие руки, приемщица готова была произнести: «Фенька», как звали ее все в деревне, но в самую последнюю минуту ей показалось, что имя ее слишком простое, деревенское и не подходит для знакомства с таким солидным человеком, каким был инженер. А Феньке хотелось чем-то выделиться, хотелось, чтоб он заметил ее, отличил бы от десятка других колхозниц, с которыми предстояло ему встретиться, и она гордо ответила: «Лукашева»...

Животноводческая ферма стояла на краю деревни, за речкой. В другое время Фенька успела бы расспросить у приглянувшегося ей человека все, что интересовало ее: холост ли, надолго ли приехал в деревню... Но в разговоре с инженером она

почему-то чувствовала себя скованной, с трудом подбирала нужные слова, чтоб ответить на вопрос Павла Ивановича, и, что никогда не случалось с ней, то и дело краснела. Может, это потому, что глаза инженера показались Феньке какими-то особенными, и сам он был необыкновенным. Лицо его выглядело строгим, но в то же время приветливым и красивым...

День был теплым. Кругом журчали ручьи. Пахло оттаявшей землей. На перекрестке дорог виднелись следы гусениц тракторов. В палисадниках весело щебетали птицы, а Фенька шла, легко перепрыгивая через ручейки, и думала о приезде механике, то и дело бросая на него томный взгляд.

Храбров ей нравился. Таких сильных и статных мужчин Фенька еще не встречала. Посматривая на инженера, Феньке вдруг почему-то вспомнился молодой черемушник, который пьянил весной голову, и она улыбнулась: как было бы хорошо так вот пройти по его густым прибрежным аллеям майским вечером и рассказать бы этому человеку не о пестрянках и красульках, а о том, чем полна душа женщины в двадцать пять лет...

Остаток дня Фенька провела под впечатлением встречи с инженером. То она вспоминала, как Павел Иванович смотрел на нее у правления колхоза, и в блеске его улыбнувшихся глаз старалась отыскать что-то необычное, понятное только женщине; то ей казалось, что инженер задержал ее руку в своей дольше, чем следовало, и, видимо, не сказал главного только потому, что это была их первая встреча; то припоминала его голос, и обыденные слова о работе на ферме звучали для нее по-иному.

Перед вечерней дойкой коров Фенька успела сбежать домой переодеться. Она не отдавала себе отчета в том, что она делает, для чего переодевается. Но ею владело какое-то непонятное чувство и желание, пришедшее к ней вместе с робостью при встрече с Павлом Ивановичем: выделиться среди девушек, работающих на ферме. Она почему-то надеялась, что инженер обязательно появится вечером в их маленькой конторке, где Фенька принимала молоко от доярок, и вот тогда она блеснет перед ним новым платьем с розой, вышитой на груди шелком. Но дойка подходила к концу, а Павел Иванович не появлялся. И только тут Фенька поняла: не придет.

«А что ему здесь делать сейчас?— подумала вдруг приемщица, наполняя молоком фляги,— ферму он осмотрел, заведующая, видно, в правлении, там и договорятся, как и что... Нельзя же ему с первого дня торчать здесь весь вечер»,— Фенька недоуменно пожала плечами, словно с кем-то разговаривала, но тут же спохватилась, взглянула на доярок: не посмеивается ли кто, и, записав в тетради цифру количества слитого во флягу молока, поставила молокомер на табурет.

Металлическая стойка с делениями до десятых долей литра

медленно поднималась в прорези дужки молокомера. Фенька смотрела на цифры, но они почему-то расплывались перед глазами, превращаясь в сплошную выгравированную цепочку. И странно, в этот вечер Фенька впервые заметила, что слитое в молокомер молоко, не успевшее еще остыть и пахнущее выменем коровы, имеет какой-то голубоватый оттенок, точь-в-точь, как белки глаз инженера в ясный полдень...

— Ты спишь сегодня, что ли?— недовольно проговорила доярка, видя, что Фенька не спешит опрастывать молокомер.

Приемщица вскинула на доярку растерянный взгляд, что-то пробормотала и принялась за работу.

Доярки приходили одна за другой, поспешно опоражнивали ведра и снова уходили на дойку. Работа в конторке спорилась. Феньке некогда было засматриваться на молоко и вспоминать о прошедшей встрече с инженером, но стоило ей заглянуть в молокомер или во флягу, оно по-прежнему продолжало казаться голубоватым.

Дойка заканчивалась на ферме к десяти часам вечера. Последние фляги Фенька наполняла до того поспешно, что доярки не преминули заметить:

— Вихорь и вихоры! То сидела раздумывала, а тут загорелась.

— Быстрее надо, бабоньки... Ванюшка в кино приглашал, а я и забыла,— оправдывалась Фенька.

— Небось, нарядиться не забыла,— подшучивали доярки и тут же добавляли:— ох, Фенька, Фенька! Закружишь ты когда-нибудь свою голову.

— Не закружу...

Помогая возчику поставить на фургон фляги, Фенька попросила сторожа вымыть молокомер и выскочила из конторки до того поспешно, что не расслышала, о чем крикнул ей в ответ сторож.

К деревне она направилась напрямик, через огороды. За ней увязалась Шурка Пестрикова. Хотя она и не поверила Феньке, однако пошла следом, а когда увидела, что окна клуба не светятся, обиделась.

— И вечно ты, Фенька, врешь. В клубе-то даже огня нет, а ты в кино собралась.

Фенька рассмеялась. Если бы Пестрикова видела лукавые глаза приемщицы, она бы поняла: никто Феньку не приглашал, а торопилась она потому, что ей надо было куда-то поспеть. Но молоденькая телятница шла сзади и не видела лица Феньки.

— Я же тебя не звала. Чего ты увязалась? Может, я не в кино.

— Так бы и говорила. А то мелешь, бог знает что.

— А ты не слушай... Я виновата, что он мне наврал,— решила оправдаться Фенька.— И что ты думаешь, второй раз

кряду... Вот белобрысый. Ну, погоди, я ему покажу. Натурально!—горячилась Фенька, как будто и в самом деле виновата была не она, а заведующий колхозным клубом, которого Фенька в тот день и в глаза не видала.

— А ты сильно-то не сердчай. Он все-таки хороший, правда?—проговорила Шурка.

— Вот еще, заступница нашлась. Все они хороши... Поживешь, узнаешь,—отозвалась Фенька. Она смотрела на светившиеся окна правления колхоза и думала: «Наверное, все еще заседают», но идти в контору вместе с Пестриковой не хотелось.

Против клуба Фенька остановилась.

— Ты домой?—спросила она Шурку.

— А куда же еще?

— Я, пожалуй, тоже домой пойду,—проговорила Фенька и, как бы раздумывая, добавила:— разве в правление заскочить? Мать книжку с трудоднями велела взять...

В правлении колхоза Фенька появилась как раз в то время, когда председатель колхоза Федор Егорович Трофимов рассказывал инженеру о сломанной пилораме, просил его заглянуть на колхозный «лесозавод». Храбров согласился посмотреть, а по возможности и помочь исправить.

— Вот и хорошо. Прямо-таки, замечательно. Думаю, что нам удастся ее восстановить, а тогда, считай, половина дела сделана... Ну, что же, теперь, пожалуй, и на спокой можно,—Трофимов подошел к вешалке.— Квартирку мы вам сообразили, ужин у хозяйки должен быть приготовлен. Только... как же вас проводить? Деревни-то нашей еще не знаете,—председатель намотнул на шею шарф и замешкался.

— Проводить я могу... Дело попутное,—проговорила Фенька.

Трофимов и Храбров обернулись и только сейчас заметили стоявшую в дверях приемщицу.

— Во, правильно!—обрадованно подхватил председатель.— Они там почти рядом живут: от ее домишка через дом, на той же руке.

— Разыщем, Федор Егорович, не сомневайтесь,—усмехнулась Фенька. Заметив в глазах Храброва удивление, она добавила:— Думала, заведующую здесь встречу, вот и заскочила. Надо бы о завтрашнем дне договориться.

— А она только что вышла,—ответил Храбров.— Может быть, даже здесь еще, посмотрите.

— Да ладно. Не к спеху,—неохотно проговорила Фенька,— можно решить и завтра.

— Как хотите.

Председатель колхоза и инженер собирались не спеша. Они продолжали разговор о предстоящих работах на ферме, а Фенька, стоя в полуосвещенном коридоре, не спускала глаз с

инженера. И чем больше она на него смотрела, тем больше он ей нравился.

Когда Павел Иванович оделся, председатель выключил свет.

— Вот всегда так. Ровно и дела горячего пока нет, отоспаться бы перед севом, а все торчишь здесь до двенадцати, все некогда,— Трофимов был настроен весело, и Фенька поняла: наконец-то председателю удалось договориться о механизации фермы.

Павел Иванович, вспомнив о чемоданчике, зашел в бухгалтерию и тотчас вернулся.

— Совсем позабыл с непривычки. Пришлось бы носовым платком утираться,— пошутил он.

— Видать, мало ездили?— спросил Трофимов.

— Почти не ездил. Восемь лет на одном заводе и никаких командировок.

«Восемь лет!— подумал Трофимов и молча посмотрел на Храброва.— Нет, такой человек не зря приехал в деревню».

Выйдя из правления, Трофимов попрощался и исчез в темноте. Какое-то время было слышно, как похрустывает у него под ногами ледок, но скоро все смолкло.

— Нам в эту сторону, Павел Иванович,— проговорила Фенька, сделав несколько шагов по направлению к мосту.

— Теперь я в вашей власти. Куда угодно можете меня вести,— послышалось в ответ, и Фенька поняла, что Храбров улыбнулся, должно быть, так же приятно, как улыбнулся ей днем возле правления, сверкнув белизной ровных зубов.

Шли молча. После яркого света ночь казалась непроглядной. Шагали наугад: Фенька впереди, Храбров чуть сзади. Всматриваясь в темноту, Павел Иванович мало-помалу начал различать постройки, чернеющие под ногами ручейки и проталины, в которых и ночью не переставала журчать вода. Подойдя к берегу, Фенька обернулась.

— Осторожней, Павел Иванович. Берег у нас крутой,— и не успела кончить слова, как поскользнулась, неловко взмахнув руками.

Храбров успел помочь Феньке, взял ее под руку, и так, подерживая один другого, они спустились на мост.

— Теперь, кажется, опасность миновала,— Фенька пошевелила рукой, стараясь высвободить ее.

— А гора?— весело проговорил Храбров.

— Ну, там не так страшно.

— Разрешите все-таки я возьму вас под руку. Поскользнетесь, упадете, а я буду в ответе. «Тоже, скажут, мужчина, шел с девушкой и не мог уберечь»,— с этими словами Павел Иванович взял Феньку под руку, и слегка озябшие пальцы утонули в мягкой теплой стезжке.

— У нас так ходить не принято. Заметят — молва пойдет.
— А что тут особенного? — удивился Храбров. — Или мужа побаиваетесь? — осторожно спросил он.

— Мужа у меня нет... Одинокая я. А молвы не хочу.

— Прощу извинить, — проговорил Павел Иванович. Отогревшись было пальцы снова ощутили весенний холодок.

На берег поднялись не разговаривая. Павел Иванович ругал себя за развязность. «Тоже мне, джентльмен выискался», — думал он, зло посмеиваясь над собой, а Фенька, задетая за живое словами Храброва, повторяла про себя: «Одинокая я» и до боли стискивала челюсти. Никогда еще она не ощущала одиночества так, как сейчас..

— И давно живете одни? — спросил Храбров, когда они поднялись на берег.

— Пять лет.

— Разошлись?

— Да, — коротко ответила Фенька и, помолчав немного, рассказала Храброву о своем неудачном замужестве.

Они шли по улице не спеша. Павел Иванович, забывшись, снова взял Феньку под руку. На этот раз она не оттолкнула, а наоборот, склонилась к нему. Голова ее касалась плеча Храброва, а щека ощущала его теплое дыхание.

Павел Иванович внимательно слушал Феньку, порой что-то спрашивал, и она, не загадывая о будущем, рассказала ему о своей маленькой и, как она считала, рано угасшей жизни все, что можно было рассказать мужчине.

— Вот, так и живу, — Фенька вздохнула, помолчала немного и закончила: — сейчас уже не живешь, а так, видимость одну делаешь.

В конце улицы прокричал горластый петух. Феньке хотелось побыть с Храбровым еще хотя бы полчаса, но она не решилась проходить мимо его квартиры.

— Ну, вот, мы и дошли, — неожиданно весело проговорила Фенька, стараясь отвлечься от грустных воспоминаний. — Это ваша квартира, Павел Иванович.

Фенька осторожно отстранилась, освобождая руку.

— А где же ваш дом?

— Рядом, за этим вот палисадником.

— Так разрешите я вас провожу?

— Что вы! Тут идти-то два шага. Давайте-ка лучше я вас пойду отрекомендую, а то, чего доброго, хозяйка еще не пустит, — Фенька рассмеялась и кинулась к калитке. «Бегают, как девчонка, и на вид ей не больше двадцати, а жизнь, как видно, не баловала ее», — думал Павел Иванович. Он стоял на дороге, смотрел вслед приемщице и не решался сделать шага. А Фенька звякнула защелкой, широко распахнула калитку и, видя, что инженер все еще раздумывает, крикнула:

— Павел Иванович, жду-у!..

С того памятного апрельского вечера прошло много дней. Храбров возглавил бригаду колхозных слесарей, и каждый день на животноводческой ферме стоял неумолкаемый гул: то с помощью кувалд слесаря гнули стальные рельсы для подвесной дороги; то на ферму подходили одна за другой колхозные автомашины с ящиками, и тогда далеко вокруг раздавалось: «Раз-з... Два-а... Взяти!»

Фенька часто встречалась с Храбровым, но поговорить с ним, как случилось в первый вечер, ей не удавалось. Не раз она подкарауливала Павла Ивановича и шла вместе с ним от фермы до правления колхоза или от правления до квартиры, однако Храбров большею частью оставался молчаливым, задумчивым. Однажды, что-то вспомнив, он даже вернулся с полдороги на ферму, и сколько не ждала его Фенька — не дождалась.

В эти дни Фенька впервые узнала, что такое тоска. Она перестала ходить в кино, встречаться с парнями, в которых совсем недавно «не чаяла души».

Дома Фенька любила сидеть у окна. И эта привычка пришла к ней нынешним летом. Распахнет створки, чуть раздвинет цветы, чтоб видна была улица, и сидит до полуночи: ждет, не пройдет ли он мимо ее дома. Случалось, видела его, подолгу смотрела из-за цветка герани на усталое, чуть осунувшееся лицо. Когда Павел Иванович проходил мимо, Феньке хотелось окликнуть его, позвать к себе. Но позвать тихонько: «Павел Иванович, зайдите!», Фенька не смела. Храбров проходил мимо, а она сиротливо глядела ему вслед и не находила в себе силы разорвать, откинуть прочь сковывающую ее тоску и быть той беззаботной Фенькой, какой она была месяц назад.

Одним утешением для нее в такие минуты были цветы. А цветы Фенька любила. Они занимали половину горницы и в разных посудинах стояли на полу, на подставках, на табуретках и стульях и даже просто на крашенных подоконниках, пестревших бурыми кругами...

Проводив Храброва долгим пристальным взглядом, Фенька сидела какое-то время без движения, борясь с нахлынувшими чувствами, затем поднималась со стула, поправляла на подоконнике цветы и разговаривала с ними, как с самым близким человеком. Она отдавала им всю теплоту женского чувства, называла их самыми ласковыми именами, какими можно назвать любимого человека, делилась с ними самым сокровенным. И странно, чувства: любовь, ласка молодой хозяйки словно доходили до цветов и были понятны им. Они отвечали Феньке буйно распутившимися букетами и цвели, не переставая. В один из вечеров Фенька сравнила себя с геранью и в пылу нахлынувшего чувства прижалась щекой к самому большому яркокрасному цветку. Она даже украдкой поцеловала сочные лепестки и бессвязно шепнула: «Милые мои...

Для чего же мы распустились такими красивыми?.. Никто не заметит нас, как мы расцвели, похорошели». Она что-то шептала еще, вновь прижималась щекой к цветку и по лицу ее блуждала грустная улыбка.

Уснула в тот вечер Фенька с легким чувством, с надеждой на будущее, словно цветок герани был волшебным цветком и вдохнул в нее настоящее счастье... А утром Фенька увидела: обласканный ею цветок увядал. Рядом с ним оттопырились кумачевые лепестки нового бутона, и хотя они не успели еще распуститься, Фенька поняла: новый цветок будет более красивым, чем цветок, облюбленный ею...

Так бы, пожалуй, и точила Феньку тоска, если б в один из летних вечеров она не открылась Храброву. Случилось это при закладке водопровода, и сейчас Фенька вряд ли могла бы рассказать, как это все произошло. Обычный воскресный день для нее начался с рассветом. Приняв от доярок молоко, Фенька отправила возчика на маслозавод, быстро вернулась домой, переделалась, и остаток дня проплыл перед ней, как в тумане...

...Беспокоиться, казалось, было не о чем: все проверено, рассчитано, учтено. Даже участки для рытья канавы были определены каждому колхознику с вечера, и все-таки последнюю ночь перед закладкой водопровода Павел Иванович спал спокойно. Перед глазами стояла обозначенная колышками трасса будущего водопровода, длинная нить чугунных труб, протянувшаяся от животноводческой фермы до берега. Маленькая насосная станция и возвышающаяся водонапорная башня преображались, как в сказке: то одевались в бетон, то становились бревенчатыми, и вытопившиеся из бревен капельки смолы наполняли ферму запахом сосны... Павел Иванович поднимался, курил, снова ложился в постель, но стоило ему закрыть глаза, как перед ним вновь появлялась прямая лента трассы, обозначенная белыми колышками, словно он все еще продолжал ходить по участку, проверяя: все ли они предусмотрели.

Поднялся Храбров рано. Развернув на столе листы ватмана с чертежами будущей трассы и системой водоснабжения, он долго рассматривал жирные линии, проведенные тушью, снова измерял, записывал и снова смотрел на чертежи...

Мимо окон прошли девушки. Их веселые голоса заставили Павла Ивановича очнуться. Он взглянул на часы, быстро свернул чертежи, надел фуражку и вышел.

Кругом на улице виднелись колхозники. Кто шел по дороге, направляясь к правлению колхоза, кто стоял возле окон домов, поджидая, видимо, соседа. Павел Иванович тоже постоял у калитки, хотя ждать ему было некого, и, проводив взглядом еще одну группу молодых колхозниц, направился следом за ними. Но стоило ему миновать палисадник соседне-

го дома, как его окликнули. Храбров остановился. В раскрытом окне он увидел улыбающееся лицо приемщицы. Фенька выглядывала из-за цветка герани и что-то говорила. Однако Павел Иванович не слышал ее слов. Он смотрел на цветок и был поражен его красотой и силой — нельзя было оторвать взгляда от этой темнокрасной шапки, подставлявшей ласковым лучам солнца сотни искусно сложенных лепестков...

Между тем Феньки в окне не стало. Заметив, что Павел Иванович остановился и залюбовался ее цветком, Фенька вскочила на улицу, схватила лопату и подбежала к калитке.

— Здравствуйте, Павел Иванович!— весело крикнула она. — Только собралась идти, смотрю, и вы идете... А почему же без лопаты?

Храбров посмотрел на руки. Действительно, почему же он без лопаты? И для него на трассе есть участок. Как же он мог забыть об этом? Однако Павел Иванович схитрил:

— Я надеюсь на председателя. Это уж его обязанность позаботиться об инструменте.

— На председателя надейся, а сам не плошай,— рассмеялась Фенька и подала Храброву лопату.— Держите. Я другую возьму.

Храбров взял лопату, примерился к черенку: хорошо ли сидит.

— Вот теперь вы землекоп в полной форме,— проговорила Фенька. Она успела сбегать во двор и остановилась возле Храброва сияющая, довольная. На щеках ее горел алый румянец. И если кто-нибудь сказал бы Павлу Ивановичу, что последнюю ночь Фенька провела без сна, он никогда не поверил бы этому: так она была хороша и свежа в это солнечное, ясное утро...

Они шли следом за молодыми колхозницами. Фенька без умолку рассказывала, как рады доярки водопроводу, ругала скотника-пастуха Мефодьича, который ленился гонять на водопой скот. Помолчав немного, Фенька вспомнила интересный эпизод из кинокартины и заметила, что в клубе кино показывают почти ежедневно, но ходить «на картину» не интересно, так как большею частью в клубе одна «мелюзга», а «путного» человека не увидишь.

Закончив рассказ, Фенька передохнула, прищурилась, кинула на Храброва хитроватый взгляд и, чуть склонив голову, спросила:

— А почему вы, Павел Иванович, не ходите в кино?

— Я?— переспросил Храбров и вспомнил о семье. Он хотел сказать: «Неудобно одному, не привык», но тут же передумал и сослался на работу.

— Времени нет. Все как-то занят.

Фенька вздохнула, но Павел Иванович не заметил ее вздоха, также, как не замечал он и многого другого. Последние дни

как-то случалось так, что вечерами после работы Фенька и Храбров все чаще и чаще возвращались домой вместе. Если Храброву надо было зайти в правление колхоза, немногим позднее, как правило, там появлялась Фенька. А выходили вместе. «По-пути, по-дороге», — отшучивалась приемщица, и Павел Иванович не замечал, как бесновались при этом в ее глазах лукавинки. Не замечал он и другого: статная женщина в легком ситцевом платье, которое хорошо вырисовывало ее стройные ноги (платье это Фенька надевала специально для встреч с Храбровым), все чаще и чаще вздыхала, жалуясь на одиночество. Она заглядывала Павлу Ивановичу в глаза, и взгляд был таким умоляющим. Но странно, Павел Иванович ничего не замечал. Мысли его были заняты семьей, которая осталась в городе, работой.

Вот и сейчас он почти не слушал приемщицу. Она что-то говорила ему о прекрасном черемушнике, который кружит голову, как хмель, о березовой роще. Обещала как-нибудь показать ему эти деревенские достопримечательности, но Храбров ничего этого не слышал. Он беспокоился о предстоящем воскреснике, думал: «Приедут ли из МТС комсомольцы, изъявившие желание оказать помощь колхозу», — и отвечал Феньке наугад.

Однако беспокойство Храброва было напрасным. Колхозники собрались на воскресник дружно. Вовремя подъехали и комсомольцы из МТС. Работа по рытью траншеи пошла до того слаженно, что к вечеру вся линия от фермы до реки была готова. Фенька, как бы между делом, дважды подходила к Храброву. Первый раз она сняла с рук брезентовые варежки и кинула их Храброву, крикнув: «Поберегите руки, Павел Иванович, а то чертеж завтра не нарисуете», а под вечер снова заглянула в траншею и попросила:

— Не оставляйте меня одну, ладно?

Павел Иванович согласился.

К вечеру, когда солнце кинуло на крыши скотных дворов красноватые блики, отчего и шифер, и тес, и даже сверкавшее изумрудом железо на какую-то минуту сделались одинаковыми, словно невидимая рука лудильщика покрыла все расплавленной медью, — траншея водопровода оказалась готовой! По краям вместо возвышающихся колышков была навалена груда земли. Околицу пересекала глубокая канава, на песчаное дно которой через день-два лягут чугунные трубы.

Храбров чувствовал усталость. Руки горели. Вспомнив о просьбе приемщицы, он прошел вдоль траншеи к участку, где работали доярки.

Фенька подчищала дно котлована.

— Ты все еще скоблишь? — проговорил Павел Иванович, присев возле траншеи на корточки.

— На премию мечу, — улынулась в ответ Фенька. — Помо-

гите-ка мне выкарабкаться из этой ямищи. Неровен час, погребет заживо обвалом, а мне еще жить хочется.

Павел Иванович подал руку.

Упираясь в глянцевитые стенки ямы, Фенька действительно еле выкарабкалась из канавы и отряхнула юбку.

— Устали, небось?— спросила она Храброва.

— Есть немножко.

— Ничего. Водичкой сполоснетесь и всю усталость, как рукой снимет.

— Ну, что же, пошли?— предложил Павел Иванович.

Фенька посмотрела по сторонам и кивнула головой.

Еще час назад взбудораженная людьми околица сейчас была безлюдной. Павел Иванович и Фенька шли вдоль траншеи, к речке. Шаг Феньки был легким, словно день только начинался. Идя впереди, Фенька то и дело оборачивалась, заглядывала на Павла Ивановича и чему-то улыбалась. Подойдя к тропинке, что шла к огородам и терялась между изгородями, Фенька замедлила шаг и нерешительно спросила:

— Не пройти ли нам берегом. Ближе будет?

— Берегом?— переспросил Храбров. Он думал о прокладке труб и вопрос Феньки захватил его врасплох.— Что ж, берегом так берегом. Какая разница. Только...

— Договаривайте.

— Я подумал о нашей первой встрече. Помните?

Фенька посмотрела на Храброва. Глаза ее прищурились, и Павел Иванович увидел в них затаенное упрямство. Но все это длилось какую-то секунду. Встряхнув головой, стараясь откинуть со лба выбившуюся из-под платка прядь волос, Фенька рассмеялась, не разжимая губ, и, направляясь по тропинке вдоль берега, проговорила:

— Э-э... Пусть! Поговорят да перестанут,— и кинула взгляд через плечо: идет ли?

Павел Иванович шел следом.

— Знаете, Павел Иванович,— начала Фенька, когда Храбров поравнялся с нею.— Я часто вспоминаю о том вечере. Вот вы сейчас еще не сказали, а я поняла вас, о чем вы хотите сказать, и у меня снова все воскресло в памяти, как будто это было вчера.

— И что же?— Храбров улыбнулся.

— И вот, чем больше думаю,— продолжала Фенька чуть слышно,— на душе становится раз от раза тягостнее. Вначале посмеивалась над собой: ну, думаю, влюбилась,— Фенька посмотрела на Павла Ивановича и по лицу ее скользнула печальная улыбка,— а потом дело до слез дошло. Как не вижу вас день-другой, на душе кошки скребут. Хожу, как в воду опущенная, а посмотрю — сразу становится легче.— Фенька понизила голос и, не поднимая головы, продолжала: — Вы помните, первое время я часто появлялась возле вас так, без де-

ла?.. Нет. Вы этого, конечно, не замечали. А это было. Приду, постую возле вас минутку, посмотрю на вас и... не могу.

Признание Феньки было настолько неожиданным, что Храбров невольно замедлил шаг и не знал, что ответить.

— Не помните!— спросила Фенька также тихо и посмотрела на Храброва такими умоляющими глазами, полными тоски и отчаяния, что Павел Иванович, не в силах выдержать ее взгляда, отвернулся.

— Как же это случилось, Феня?— прошептал, наконец, Храбров, остановившись.— У меня семья, дети.

— А вы думали я не знала?— Фенька рассмеялась, но смех ее был фальшивым, точно смеялась она сквозь слезы.— Об этом я на второй день после вашего приезда узнала.

— Так почему же вы думали обо мне?

Храбров вначале готов был принять все за шутку. Ему казалось, вот-вот Фенька рассмеется и скажет: «А здорово я вас разыграла». Но по взгляду, по голосу Феньки понял: она не шутит. Павел Иванович хотел остановить ее и объяснить, но Фенька шла вдоль берега, увлекая за собой Павла Ивановича все дальше и дальше. Давно осталась позади последняя усадьба колхозника на противоположном берегу, вместо видневшейся в сумерках животноводческой фермы по-над берегом тянулся колхозный сад, над водой шептались разросшиеся ивы, скрывая своими густыми кронами половину тихо струившейся речки. За одиноко стоявшими деревьями начинался тот самый черемушник, о котором не раз слышал Храбров от Феньки. Несколько метров их отделяло от густого прибрежного кустарника, где вряд ли можно отыскать тропку. Однако Фенька все шла и шла. Голова ее была чуть запрокинута назад, точно она старалась рассмотреть что-то поверх кустарника...

— Почему?— спросила Фенька после некоторого молчания и в упор посмотрела на Храброва,— выходит, нравилось так.

Храбров колебался. Его манила к Феньке ее свежесть, красота. Только сейчас, казалось, он заметил, какая у нее стройная, красивая фигура. Но, глядя на подернутые поволокою Фенькины глаза, Павел Иванович думал о жене, о ребятишках. Какое оправдание он найдет для себя? И, не в силах оторвать своего взгляда от синевы ее затуманенных глаз, Храбров медленно проговорил:

— Не следует этого делать, Феня. Не думайте обо мне.

Фенька повернулась лицом к еле теплившейся заре, постояла, о чем-то раздумывая, затем снова посмотрела на Павла Ивановича и чужь слышно прошептала:

— А если это не получается?

Павел Иванович хотел что-то ответить, но Фенька не дала ему произнести слова.

— Спустился к реке, освежимся,— предложила она и, не дожидая ответа, сбегала под берег.

Однако умываться Фенька не спешила. Поджидая, пока подойдет Храбров, она скинула с головы платок. Все это время Фенька была в каком-то оцепенении. Она знала, что говорит не то, что следовало бы говорить, но не могла пересилить себя. Слова рвались из груди, но с губ сползали шепотом. Она ждала этой минуты с первого вечера, как только они встретились. Ждала! Она грезила о ней во сне и наяву.

Дышать становилось труднее. В висках стучало. Закинув за голову руки, как бы намереваясь уложить волосы, Фенька взглянула на спускавшегося к ней Храброва и снова еле слышно прошептала:

— А если это невозможно?

— Не надо так, Феня. Возьми себя в руки.

— Прости меня, не казни, не презирай. Ну что я сделаю, если не могу больше оставаться одна со своими мыслями. Понимаешь, не могу!

Храбров стоял в нерешительности. Он ощущал ее горячее порывистое дыхание, смотрел на шептавшие губы, и они казались ему огненными, как цветок герани, который он видел утром в ее окне.

— Милый!.. Только не уходи. Останься со мной. Я не могу без тебя,— продолжала шептать порывисто Фенька. Рот ее был полуоткрытым. Губы вздрагивали и ждали поцелуя. Вдруг Фенька наклонилась к Храброву так близко, что он ощутил прикосновение ее груди.— Пусть это будет нашей единственной встречей. Разве я виновата, что полюбила тебя?

...Утром следующего дня, припудрив подпухшие от слез веки, Фенька чуть свет пришла к председателю колхоза и попросилась, чтоб ее отправили на луга.

— Что так?— удивился Трофимов. Он смотрел на приемщицу и не мог понять в чем дело.

— Выходит, так надо,— ответила она.

Мимо окон прошел Храбров. Заметив его, Фенька отвернулась, глаза ее заблестели и было в них столько решительности, что Трофимов понял: уговаривать — бесполезно. Перед ним была другая Фенька, которую он еще не знал.

О Л Е Н Ь К А

Над полями сгущалась ночь. Трактор шел, лязгая гусеницами, и урчал монотонно, с еле заметными переливами. На краю пашни он медленно поворачивался. Оля выключала и включала автомат плуга, и снова перед глазами ползли черные грядки пластов.

Хорошо отрегулированный плуг вгрызался в землю. Под корпусом рамы потрескивали корневища вековой дернины, срезаемые предплужниками. И то ли от рокота мотора, то ли от того, что беседка плуга пружинила и прицепщицу покачивало, как в люльке,— Оля задремала и, сама не замечая того, клюнула носом.

Тракторист остановился.

— Пробегись-ка,— крикнул он, высунувшись из кабины,— на конце гона сядешь.

Оля соскочила на землю.

У леса, на увале, в километре от участка, где пахали Оля и Тоболкин, светились фары другого трактора. Из-за рокота мотора своей машины не слышно было гула работающего вдали трактора и Оле казалось, что он стоит: таким неподвижным был свет фар. Но, вот, вместо двух теперь горела только одна задняя фара: машина, видимо, повернулась.

На краю поля Тоболкин остановился. Оля шла бороздой и, заглядевшись на светившиеся вдали точки, чуть не наткнулась на плуг: такой неожиданной показалась остановка.

— Садись!— донеслось из кабины.

Прицепщица медлила. Она все еще смотрела на огоньки, и вместо того, чтобы сесть, подошла к кабине.

— А там тоже наши?

— Ну-да. Только из другой бригады... Дядя Миша с Гришкой Березкиным пашут,— добавил Тоболкин.— Поехали. Нечего разговоры разговаривать.

У Оленьки словно что-то оборвалось. Глядя на удаляю-

щуюся полоску света, она притихла, сжалась в комочек. Ее охватило какое-то странное чувство, копившееся много дней; чувство, в котором она не хотела признаться сама себе, хотя оно начинало руководить ее мыслями...

Гришу Березкина Оля Нефедова знала по школе. Невысокого роста, курносый, с веснушками на лице,— он ничем особенным не отличался от других мальчишек. Черные волосы, торчавшие ежиком, говорили о задиристом характере Гриши, однако по натуре своей он был тихим, молчаливым.

Учился Гриша классом старше. Окончив школу, поступил в райпромкомбинат и ходил на работу мимо Олиного дома. На улице они часто встречались. Иногда Гриша задерживался возле калитки, приглашал Олю в кино, но она отказывалась: боялась, что в клубе их встретят подружки и тогда всей школе станет известно об «ухажоре».

Гриша смущенно кивал головой и уходил, а Оля украдкой смотрела ему вслед, пока он не скрывался за палисадником соседкиного дома.

Как-то незаметно для себя Оленька привыкла к этим встречам, к неумелым поклонам, к легкому румянцу на щеках Гриши, когда он заговаривал с ней... Этой весной Оля готовилась к выпускным экзаменам. Она дала себе слово, что первое, что она сделает после окончания школы,— сходит с Гришей в кино.

Но желаниям Оли не суждено было сбыться. Гриша внезапно исчез, ничего не сказав ей о своем отъезде. Подружки, вместе окончившие школу, говорили, что многие комсомольцы ушли в МТС поднимать целину, может быть и Гриша с ними... И решила тогда Оля отказаться от работы в конторе связи, куда тянули ее одноклассницы, и пойти работать в машинно-тракторную станцию.

Директор МТС Колокольчиков встретил Олю официально. Повертел Олино заявление, недоверчиво посмотрел на нее. Ощущая на себе пристальный взгляд, Оля краснела, боясь поднять глаза.

В дни экзаменов Оле исполнилось восемнадцать лет, но выглядела она гораздо моложе. Ватная фуфайка с подогнутыми рукавами была ей велика, и, конечно, директор не верил, что ей восемнадцать.

— А документы у вас с собой?— спросил он.

Оля подала паспорт и справку об окончании школы. Колокольчиков долго вертел в руках зеленую книжечку с ярко отиснутым гербом, внимательно прочитал справку и снова посмотрел на нее. «Ну что же я с тобой делать-то буду?» — казалось, говорил его взгляд. В это время зазвонил телефон. Колокольчиков снял трубку и долго разговаривал с кем-то о посевной, о паровспашке, о ремонте комбайнов.

Кончил он говорить так же неожиданно, как неожиданно

раздался телефонный звонок. Положив трубку на рогульки аппарата, директор взглянул в сторону Оленьки.

— Так куда же ты хочешь?— спросил он после минутного молчания и посмотрел ей в глаза. А глаза у Оли были большие и смотрели всегда внимательно, чуть прищурившись, словно все время учились чему-то...

— В прицепщики... На целину, — несмело ответила Оленька.

— Опять на целину!— директор качнул головой, хмыкнул, попытался улыбнуться, отчего морщинки на его лице обозначились резче, особенно на лбу и у подбородка, и сухо добавил:— нет, на целину я тебя не пошлю: молода. Да и остальные прицепщики там не ахти какие. Заплачут трактористы с вами. А целина... К ней силу прикладывать надо.

— Я справлюсь, товарищ директор, не смотрите, что я такая... Я комсомолка.

— Даже не заикайся,— отрезал Колокольчиков и уткнулся в бумаги, как бы давая понять: «Разговаривать больше не о чем».

Оля в первую минуту растерялась и не знала, что сказать. Но глаза ее упрямо прищуривались и смотрели из-под длинных ресниц решительно.

Пододвинув к себе стул, она села: вот так и буду сидеть, пока не согласитесь принять, говорил ее вид.

Прошло несколько минут. Директор, казалось, забыл о ней. Он подписал какие-то бумаги, позвонил по телефону какой-то Леночке и спросил: поступили ли данные из двадцать третьей бригады? Неизвестная Леночка отвечала директору, а он слушал, кивал головой и время от времени произносил: «Так-так», «Угу», «Добро».

Когда Колокольчиков положил трубку, Оля кашлянула, но директор не обратил на это внимания. Что-то, видимо, вспомнив, он снова позвонил на этот раз Ивану Петровичу и долго ругался за размороженную сердцевину у трактора, потом приказал немедленно привезти тяжелый луцильник.

Разговаривая с Иваном Петровичем, директор так распался, что лицо его покраснело, на лбу выступили жилы.

«Ну, теперь совсем ничего не выйдет,— подумала Оля.— Надо же было звонить Ивану Петровичу». Она уже хотела подняться и незаметно уйти, но в это время директор зло кинул трубку.

Оля боялась пошевелиться. Ей казалось, что Колокольчиков выгонит ее сейчас из кабинета, тогда и завтра, как рассчитывала она, к нему уже не придешь. «Надо было раньше улизнуть, пока он не ругался»,— подумала девушка. Директор смотрел на нее и барабанил по столу пальцами.

— Так и сидим, значит,— наконец проговорил он, но сказано это было так рассеянно, что Оля поняла: директор думал

не о ней, а о размороженной сердцевине. Но все-таки ответила:
— Сижу.

Колокольчиков помолчал еще немного, потом встал, прошелся по кабинету и остановился против Оли.

— Ну, ладно. Принять я тебя приму, но только не плакать.

Оленька осмелела.

— На целину?

— Если уж так хочешь, приму на целину,— директор прошел за стол и сел.— Только, чтобы никакого баловства не было в бригаде. Ребятишки там все озорные, так ты с ними строже будь. Может, тебя они послушают лучше, чем бригадира. На них ведь, как найдет... Документы отдай секретарше. Пусть приказ напишет.

В бригаду Оля выехала на следующий день с попутной машиной. Утро выдалось на редкость холодным. Машина шла быстро. Шофер гнал, не разбирая ни рытвин, ни ухабов. Давно осталась позади деревня колхоза, поля которой обрабатывала бригада, куда ехала Оленька,— а машина все шла и шла. И чем дальше они отъезжали от селения, тем больше попадалось пустошей. Раньше Оля не раз ездила по этой дороге к матери, когда та работала прицепщицей, но как-то не замечала пустующей земли, не обращала на это внимания: ну, не пашется земля и только, что же тут особенного! А сейчас ехала и присматривалась к каждому клочку, к каждой поляне. «И вправду, земли вот сколько пропадает... Эту, верно, тоже поднимать будем?»— думала она, поглядывая на проплывающее мимо поле. А за перелеском снова показывалась та же непашь, и прикипшие к земле жухлые травы пошевеливали засохшими стеблями, точно жаловались на что-то...

Потом машина сбавила бег и остановилась. Из кабины выснулась голова шофера.

— Тебе куда, целинница?— спросил он.

— А я не знаю... На восемьдесят четвертый меня назначили,— ответила Оленька, с трудом выговаривая слова: так замерзла.

— Тогда вылазь. Восемьдесят четвертый у них здесь. Вон, березовую рощу видишь? Тут у них стан... Да пробегись бегом, согреешься,— посоветовал парень, взглянув на ее посиневшее лицо.

— Спасибо. Теперь-то уж доберусь,— ответила Оля и, помахав шоферу рукой, пошла к рощице.

Зайдя в вагончик, Оля остановилась у порожка. Тучная, пожилая женщина, полоскавшая в тазу алюминиевые миски, разговаривала с мужчиной, сидевшим возле стола на скамейке. Видно, он только что позавтракал.

— За весну-то старик совсем извелся,— продолжала говорить женщина, не обратив внимания на Оленьку.— Непогодь-

то была, дак он кажину ночь бесперечь на улицу бегал. Не успеешь глаза закрыть, а он уж, родименькие мои, опять собирается. Не ест, не пьет. Осунулся, как скаженный. Я уж, грешным делом, подумала: занедужил, должно, и, по простоте душевной, заварила для него Калган-корень, а он попробовал и давай меня страмить: «Ты, говорит, Настасья, видно, совсем из ума выжила, отравой меня поишь». А я ему: «Занедужил, говорю, ты, однако, Силыч. Вот я и решила тебя попользовать». А он мне: «Занедужил! Смотри, говорит, на улице-то че диется. Надо сиять, а тут непогодь эвон какая. Трактористы — молодняк, говорит, осоловели от безделья, а ты: занедужил! Дрянью какой-то поить здумала». А я ить это завсяко-запросто. Без всякого, стало бытъ, умыслу. Ему же, хрычу старому, подсобить хотела, а он выстрамил. А вчерась эдак-то опять полуношничал: боится, как бы мороз всходы не прихватил, — сыпала скороговоркой женщина, поминутно задерживая в руках молчалку и посматривая на мужчину: слушает ли?..

Едва успела она закончить, мужчина, покручивая ус, поднялся. Он давно поглядывал вопросительно на Оленьку.

— Корешки свои, Настасья Сергеевна, оставь...

— Так ить это целебные корешки, Кузьма Ефимович. Бабка моя, бывало...

— Вот-вот, потому и выкинь,— поспешно проговорил Кузьма Ефимович, боясь, видимо, что повариха снова разразится длинной тирадой, и обратился к Оленьке: — ну, а у тебя что, девица?

— Я в бригаду прицепщицей назначена,— несмело ответила Оля и подала приказ директора, решив, что перед ней не кто иной, как бригадир.

— Эдакая-то махонькая, да на прицеп?— ахнула Настасья Сергеевна.

Бригадир прошел за перегородку и сел. Читая приказ, он беззвучно чмокал губами и усы его пошевеливались.

— Пошто же это ты пошла в прицепщики-то?— сокрушалась повариха.— Неужто в конторе места не нашлось?

Оленька молчала. Она не знала, как вести себя с этой женщиной.

Поставив в угол чемоданчик, Оля осмотрелась. Вагончик с маленькими оконцами был разделен перегородками из досок. В первой половине стоял столик для поварихи, в углу висел шкафчик, заставленный посудой. Во всю длину стенки тянулась широкая полка с бутылками из-под молока, с мешочками, в которых, по всей вероятности, хранился провиант трактористов, взятый из дома. За перегородкой половину комнаты, если можно было так назвать походную каморку механизаторов, занимали двойные нары. На верхних нарах спали трактористы. У одного из них торчали над брусом черные пятки. Слева от двери стоял стол, застланный газетами.

— Ну что же, — проговорил, наконец, Кузьма Ефимович, прочитав приказ дважды, — до утра отдыхай, а там сядешь на прицеп.

Покрутив длинный ус, он кинул на Олю колючий взгляд.

— А почему до утра! Сейчас разве нельзя? — спросила Оля. Ей почему-то хотелось как можно скорее увидеть свой трактор, свой плуг, на котором придется работать лето.

— Да ты бы хоть отогрелась, сердешная. Замерзла, поди. Ветер-то, эвон, как завихаривает, а на машине-то и вовсе тошнехонько.

— Нет, не замерзла, — ответила Оля.

— Что ж, коль такая охота пришла, пойдем, отведу, — вяло проговорил бригадир и нехотя поднялся, подперев головой потолок вагончика.

— Может, пообедает, девонька? Как хоть звать-то тебя?

Оля назвала себя, но от обеда отказалась. Сунув поварихе свой чемоданчик, она вышла из вагончика следом за бригадиром.

В лицо снова пахнуло холодным ветром. Оля поежилась и оглянулась, подумала, что можно было бы еще посидеть в теплом вагончике. Бригадир, втянув голову в плечи, шел не оборачиваясь и Оля поняла: отступить поздно. Она хотела спросить: «Скоро ли дойдем?», но побавалась рыжеусого бригадира. «Накричит еще», — подумала она, и шла молча, едва успевая за ним.

— Работала когда на прицепе-то? — спросил Кузьма Ефимович, не оборачиваясь.

— Приходилось. В прошлом году маму подменяла, когда у ней нога болела.

— Значит автомат включать умеешь?

— Хитрость не велика.

— Ишь, ты. Ну, а землей забьет, вычистишь?

— Вычищу, Кузьма Ефимович.

— Ишь, ты, — повторил бригадир и, обернувшись, добавил: — востроглазая.

Где-то справа раздался гул мотора. Оленька повернула голову, но трактора не увидела. Рядом с кустарником тянулась гривка молодого березняка.

— Ну, вот и восемьдесят четвертый, на который тебя назначили, — проговорил бригадир, выйдя из березок. — Только тракторист у тебя не этот будет. Твой в вагончике, отдыхает. В ночь ему работать, — пояснил он и махнул рукой в сторону приближавшегося трактора.

Оленька, стараясь узнать, кто сидит на беседке плуга, отошла от бригадира чуть в сторону и заглянула за трактор. Прицепщик сидел нахохлившись, как наседка: в фуфайке, в шапке-ушанке, нахлобученной на глаза так, что трудно было рассмотреть его лицо. И только когда трактор вышел на межу, и

мальчишка соскочил с беседки и стал топтать ногами, выделывая замысловатые колена, чтобы согреться, Оля поняла, что она напрасно надеялась встретить здесь Гришу.

— Сменщику тебе привел, Ванюшка, учи, — проговорил Кузьма Ефимович.

Мальчишка перестал плясать и посмотрел на Оленьку.

— А что ее учить-то? Пусть садится да едет, — ответил он.

— Но-но! Говори у меня! — прикрикнул Кузьма Ефимович. — А ты, Кирюха, посматривай чаще назад, чтоб ладно было.

Тракторист Кирюха, парень лет двадцати пяти, с черным от копоти лицом, протянул руку к кисету бригадира, быстро свернул цыгарку и, затянувшись раз — другой крепкой махоркой, утвердительно кивнул головой.

— Не бойсь, бригадир. Все будет в порядке, — ответил он и проворно вскочил в кабину.

— Ну, садись.. А ты, Ванюшка, вряд иди, да посматривай, — приказал Кузьма Ефимович прицепщику и снова махнул рукой, что означало: давай, дескать, трогай.

Трактор плавно взял с места. Притормозив правую гусеницу, тракторист медленно повернул машину, заводя плуг в борозду, и над ухом Оленьки раздалось:

— Отпускай!

Оказывается, это крикнул Кузьма Ефимович. Пока трактор поворачивался, бригадир шел рядом с беседкой.

Оля с силой толкнула ручку автомата. Лемеха плуга и предплужников, опустившись к земле, срезали верхний слой дернины и тотчас зарылись в землю, с хрустом отрывая толстый, веками спрессованный верхний слой целины.

Нового в работе на прицепных орудиях для Оли ничего не было. Нехитрое устройство автомата, регулировку плуга на глубину вспашки девушка хорошо помнила с прошлого года, и стоило ей проехать круг — другой, она уже чувствовала себя уверенно, словно только вчера оставила прицеп.

Ванюшка, видимо, побаиваясь строгого бригадира, первый круг бежал вряд с прицепом, наблюдая за Олей. Но, поняв, что его присутствие у плуга не обязательно, на повороте следующего круга отстал, а когда трактор поравнялся с ним в третий раз, он положил на плуг охалку сухой травы, привычно уселся на раму и, глядя на Оленьку, крикнул:

— Ты, видать, уж робила на прицепах?

— Угу, — ответила Оля и для большей ясности кивнула головой.

— А звать-то тебя как? — слышался над ухом тоненький голосок Ванюшки.

Они познакомились. Оленька в знак благодарности за общительность улыбнулась прицепщику. Ваня тоже улыбнулся и смутился.

Посматривая на выглядывающее из кабины лицо тракториста, Ваня прислушивался, как шипят по отвалам пласты целины, иногда вскидывал глаза на Оленьку, устремившую взгляд куда-то вдаль, и спросил:

— Так ты с Тоболкиным, значит, будешь робить?

— С ним.

— Труба тебе будет,— с сожалением заметил Ваня.

Оля повернула к нему голову, а глаза ее спрашивали: «Это почему же труба?»

— Это такой жук,— крикнул Ваня, затем присвистнул и помотал головой. Но что за «жук», он так и не сказал. И только когда объехали круг, а время близилось к пересмене, он пояснил:

— Приехал он из города, порядков наших не знает и ко всему придирается: это не так, да это не ладно. В общем, жук с бородавкой. Его так и зовут в бригаде Бородавкиным. Даже Леночка, диспетчер эмтеесовской, по радию приветы ему передает: «Привет Бородавкину!»

Оля помолчала. Она не придала значения словам Вани, но чувствовала, что в бригаде как-то все шло не так, как бы ей хотелось. Бригадир показался чересчур строгим, тракторист, с которым предстояло ей работать,— «жук с бородавкой», Гришу Березкина она так и не встретила. «Может, он в другой бригаде где-нибудь»,— мелькнула у Оли мысль. Про Березкина Оля хотела спросить у Вани, но постеснялась. Однако же на пересмене, когда к вагончику приходят все трактористы на технический уход, Оля обошла весь стан, но Гришу не встретила. Встревоженная, она подошла к поварихе, поговорила с ней о каких-то пустяках, хотела спросить о Грише, и опять постеснялась.

Вскоре Олю окликнули:

— Эй!.. Деваха! Ты, кажись, работать приехала, так бери шприц, наложи в него солидолу да прошприцуй как следует все тавотницы плуга,— донесся до нее незнакомый голос.

Оля подняла голову. На нее смотрели сердитые глаза тракториста с бородавкой на подбородке.

— Плуг-то умеешь смазывать?— спросил он.

— Умею,— ответила Оля и кинулась к ящику с солидолом, возле которого лежал шприц.

Когда все тракторы были осмотрены и один за другим начали отползать от вагончика, Тоболкин подошел к бригадиру и, кивнув головой в сторону Оли, спросил:

— Ехать-то с ней?

Оля, машинально вытирая тряпкой какую-то гайку, прислушалась.

— С ней-то, с ней... Да мала больно. Как бы не уснула,— ответил Кузьма Ефимович.— Давай Ванюшку попросим отработать вроде бы пересмену, а завтра в день ее посадим.

— А я не согласна!— крикнула Оля и подошла к бригадиру.— Раз мой черед ехать в ночь, поеду. Не хочу, чтобы мне поблажку делали,— отрезала она и даже удивилась своему голосу: «Чего это я так-то...» Помолчала и добавила:— не сегодня, так завтра все равно придется в ночь работать.

— Ладно. Езжай, коли так,— согласился Кузьма Ефимович,— только ты, Миша, поосторожнее. Греха бы не было.

— Хорошо, Кузьма Ефимович,— ответил тракторист и завел мотор...

И вот, оказывается, Гриша здесь, рядом. Оле хотелось смеяться, шутить. Прислушиваясь к монотонному рокоту мотора, она тихонько запела. Но от песни пришлось отказаться: в рот набилась пыль. Тогда Оля загадала: «Если мигнет фара, значит любит, думает обо мне, все еще мечтает в кино вместе сходить». Она пристально смотрела вдаль и чего-то ждала.

И то ли оттого, что Гриша заслонил головой свет, или от чего другого, но фара мигнула. Мигнула и погасла. Не светились и передние огни трактора. В стороне, куда смотрела девушка, стояла непроглядная тьма ночи.

Выключив и снова включив автомат плуга, Оля до боли в глазах всматривалась в темноту. Но на увале, где минуту назад светились огоньки, стояла, должно быть, тишина. Оле даже показалось, что монотонный рокот их трактора стал громче, и скользящие по отвалам пласты не шипели, как прежде, а трещали.

— Ну, что там у вас? Почему стоите? — спрашивала она кого-то...

Прошло десять, пятнадцать минут, а трактор на бугре все еще, должно быть, стоял. Теперь она сердилась на Тоболкина. «Этот тоже, видать, хорош. У товарищей, наверное, поломка, а он, знай себе, ездит да ездит. За процентом гонится». Она смотрела на оконце, чернеющее в задней стенке кабины трактора. «Надо же было угодить к такому сухарю... с бородавкой», — возмущалась Оленька.

Однако на половине следующего круга Тоболкин остановился и заглушил мотор. Вокруг воцарилась такая тишина, что было слышно, как пискнула где-то мышь.

Оля мигом соскочила с беседки и подбежала к кабине.

— Может, сбегать, узнать, что там у них случилось,— крикнула она. И хотя бежать к трактору было далеко и страшно, Оле хотелось знать: что же у них произошло.

Тоболкин молчал.

— Я сбегаяю?— снова спросила Оля. И снова, не дождав-шись ответа, подумала: «Чего молчишь-то? Не можешь круг проехать без прицеппика?»

Тоболкин вылез из кабины, перебирая в ящике ключи, он заговорил:

— От тебя пользы мало будет. Сам схожу. Ты пока лезь

в кабину, вздремни чуток,— и ушел, будто провалился в темноту.

Оля забралась в кабину, свернулась на сиденье клубком, закрыла глаза. Но сон не приходил. Она повертелась с боку на бок, потом решительно встала, огляделась кругом и юркнула в темноту, следом за Тоболкиным.

Она не знала, где трактор. Спотыкаясь, проваливаясь в мягкую пахоту, Оля бежала в том направлении, куда ушел тракторист.

Но вот на синевато-черном горизонте стал вырисовываться силуэт трактора. Он был уже близко. Оля пошла осторожней.

— Ну, что тут у вас стряслось?— донесся глухой голос Тоболкина. Но вместо ответа Оля услышала что-то вроде бульканья.

Сделав еще несколько осторожных шагов, она остановилась, заметив человека, прислонившегося к кабине. Это был Гриша.

Тоболкин зажег спичку. Слабый огонек пламени поднялся над корпусом трактора, и тут же вспыхнул факел в руках Гриши.

Трактористы, стуча по железу ключами, отвертывали какие-то гайки.

— Поплавок, наверное, барахлит, не держит уровня.

— А горючее продувал?

— Продувал.

— Надо бы жиклер проверить.

— Сейчас проверим,— сказал дядя Миша и вдруг спросил:— прокопаешься тут со мной, а сам-то как?

— Да гектар десять подниму. Разве только прицепщица не выдержит...

— А ты ее рядом посади, веселее будет,— рассмеялся дядя Миша.

— Посадишь ее... Она от прицепа ни на шаг. Всех ребятшек настропала так, что даже они теперь с беседок не слезят.

Дядя Миша снова о чем-то спросил Тоболкина. Тоболкин, отвертывая гайку, также тихо ответил ему. Оля не поняла его слов, но заметила, как покачнулся в руках Гриши факел и раздался его удивленный голос:

— Нефедова?

— Она самая,— подтвердил Тоболкин и посмотрел на прицепщика.— А ты откуда ее знаешь?

— Да, так... Знаю,— сказал Гриша. Потом тихо, так, что Оля едва слышала, добавил:— в одной школе учились.

— Может, привет передашь?— спросил дядя Миша.

Но Тоболкин, словно не слыша шутки тракториста, серьезно проговорил:

— Хорошая девчонка. Ершистая такая...

Оля стояла на полосе, затаив дыхание. Потом сделала назад несколько шагов и, не оглядываясь, пустилась бегом к своему трактору.

Уместившись на мягком сиденье кабины, она закрыла глаза...

Сколько времени Оля проспала — она не знала. Когда проснулась и взглянула в боковое окно кабины, на увале снова светились электрические огни, весело рокотал мотор.

— Пошел, милый! — подумала прицепщица. Она хотела сказать это вслух, но вовремя остановилась: рядом с кабиной стоял Тоболкин.

Что-то бормоча себе под нос, тракторист ощупью наматывал шнурок на маховичок пускача, затем с силой дергал его к себе. Дизель тяжело вздохнул, выбросил из трубы сноп пламени и заговорил чуть приглушенными выхлопами. Оленька спрыгнула на землю. Ей очень хотелось спросить: что там, у дяди Миши, но она только посмотрела на Тоболкина и пошла к плугу.

Снова рокотал мотор. Снова вгрызаясь в землю острыми отполированными лемехами четырехкорпусный плуг. Ночь подходила к концу. Оля по-прежнему покачивалась на беседке плуга, и с виду как будто ничего не изменилось.

Д О М А

Солнце било в глаза. Марина упрямо сжимала веки, но сон больше не приходил. Тогда она открыла глаза, засмеялась. Подъем!..

Ну, конечно,— мать уже ушла на ферму и не разбудила ее. На столе стояла кринка с отпотевшими боками, масло в деревянной масленке, тоже покрытое холодными капельками (все из погреба), на тарелке лежали крупные яйца.

Не одеваясь, Марина выскочила в коридор, умылась ледяной водой и, подрагивая голыми плечами, вернулась в кухню. До чего же вкусный завтрак!

Солнце заливало комнату, золотой дорожкой лежало на темном крашеном полу, шелковисто струилось по лицу и рукам. Ощущение бодрости, силы, счастья переполняло Марину. Налив в таз воды, она с удовольствием прищлепывала по широким половицам мокрой тряпкой.

...и надену я кофточку белую,
Ожидаю свиданья с тобой,
Только первого шага не сделаю...

Теперь все в доме блистало чистотой и порядком. К свежести только что вымытых полов примешивался легкий, едва угадываемый душок сухих трав — милый, родной запах далекого детства. Далекого? Да, не близкого: двадцать три года стукнуло! Причесываясь перед зеркалом, Марина важно поклонилась собственному отражению — довольно симпатичная девушка, сероглазая и загорелая, степенно ответила на поклон и не сдержалась — припухшие после сна губы дрогнули от смеха. Оставаясь наедине с собой, взрослые серьезные люди ведут себя иногда, как дети. Марина однажды видела, как профессор Морозов, проходя по пустому коридору института, указательным пальцем постукивал себя по лбу и довольно гудел...

Марина вышла на крыльцо и ахнула: березонька! Да как

же она вчера ночью, когда приехала, не заметила ее. Здравствуй, березонька!..

С тех первых дней детства, которые остались в памяти — отрывчатые, пестрые, не связанные друг с другом, — тоненькая березка была едва ли не самым отчетливым воспоминанием. Она прошла через все детство Марины, проводила ее в юность. В знойные дни под ее негустой тенью Марина играла с подружками в тряпичные куклы, пряталась в дождик под ее редкой ненадежной листвой, а потом, повзрослев, прощалась под разросшимися ветвями со своей первой и недолгой любовью...

Сбежав с крыльца, Марина погладила шершавый ствол и тут же вскинула голову: почти заплывшие, неровные, проступали сквозь кору вырезанные когда-то буквы. Видно, даже у дерева память крепче, чем у того, кто вырезал ее имя на белой коре!

Затуманенным взглядом смотрела Марина на широкую улицу родного села — с ветлами у домов, с дорогой, обросшей по обеим сторонам густым подорожником, с мостиком через овражек, с новыми, белеющими тесанными бревнами, срубам. Жалко, ох жалко будет прощаться в этот раз с Черепановкой! Согласится ли еще уехать мать?..

Со смешанным чувством смущения и любопытства перешагнула девушка порог правления колхоза, откуда, кажется, совсем недавно, строгий Петр Никифорович выпроваживал их, ребяташек: «Кыш, пострелята!..»

Волков разговаривал по телефону, когда Марина приоткрыла дверь кабинета и попросила разрешения войти.

Председатель поднял тяжелую бритую голову, сердито поморгал рыжими ресницами, и мгновенно широкая улыбка осветила его крупное лицо.

— Мариша? Проходи, проходи, сейчас я!.. Да, да, слушаю!..

Марина села на потертый диванчик и, все еще улыбаясь, смотрела на Волкова, говорившего по телефону. Постарел он, раздался, воротник синего суконного кителя не сходиллся, белый подворотничок резко оттенял коричневую, в крупных морщинах, шею. Подумалось, что таким, вероятно, был бы сейчас и отец...

Кто-то, по другую сторону провода, говорил долго и нудно. Волков поигрывал спичечным коробком, изредка односложно и скупно отвечал. Его умные зеленоватые глаза были сердитыми и только, когда его взгляд встречался с Мариной, в них на секунду вспыхивал живой огонек.

Разглядывая нехитрую обстановку кабинета и снова оставив взгляд на Волкове, Марина думала о том, как нелегко, наверное, достались ему эти последние годы. Петр Никифорович, коренной черепановец, был одним из первых организаторов колхоза. До войны «Победа» славилась по всей области. В войну дела колхоза пошатнулись. Волков ушел в армию, председатели менялись едва ли не каждый месяц, и

хотя все они были пограмотней Волкова (он кончил всего пять классов), Марина хорошо помнит, как заработанное за год она с матерью уносила со склада в двух мешках...

Четыре года назад по настоянию колхозников Волков снова возглавил артель, и хозяйство стало налаживаться. Достроили начатую еще до войны электростанцию, поставили кирпичный завод и мельницу, заметно поднялись урожаи, а с ними — и трудодень. Если еще два-три года назад Марина по воскресеньям отправляла матери посылки с крупой, мукой и сахаром, то уже второй год, не велев больше ничего посылать, мать сама со случайными попутчиками передавала Марине в институт брусочки масла, рассыпчатые домашние лепешки, кринки с душистым медом...

— Да, понятно,— продолжал между тем затянувшийся телефонный разговор Волков и вдруг молодо и дерзко усмехнулся.— Глеб Иванович, я вашу беседу потом дослушаю. Гость у меня сейчас!.. Какой гость?— Волков подмигнул Марине.— Дорогой гость, вот какой!

И, не обращая внимания на то, что трубка гневно зарокотала, смаху бросил ее на рычаг.

— Замучал!— засмеялся он и легко поднялся из-за стола.— Ну, здравствуй, Маришенька!

Стиснув огромными жесткими руками руку девушки, Волков легко поворачивал Марину из стороны в сторону, радостно изумлялся.

— Нет, поглядите на нее, красавица да и только!

И, как-то весь обмякнув, подобрев, шумно вздохнул:

— Эх, не дожил ты, Петро!..

Тень, как гучка, пробежала по лицу Марины. Об отце, сложившем голову на далекой немецкой земле, говорил его одноклассник и приятель Петр Никифорович.

Люди почему-то зачастую стыдятся своих добрых чувств. Через минуту Волков снова сидел за столом и расспрашивал Марину спокойным сдержанным голосом.

— Сколько ж ты дома не была?

— Два года, Петр Никифорович.

— Отбилась, совсем отбилась! Кончаешь?

— Кончаю.

— Агроном, значит?

— Будущий, Петр Никифорович.

— А потом?

— Потом? Профессор хочет оставить в аспирантуре.

— Та-ак...— Волков снова завладел спичечным коробком, постучал им по клеенке стола. — Опять, значит, от дому подальше?

Марина смешалась, неожиданная обида спутала мысли. Волков, поняв состояние девушки, пылливо заглянул ей в глаза, негромко сказал:

— В молодости, Мариша, счастье всегда кажется за семью горами. Вот и ищем его, где подальше. А оно, бывает, рядом — вот оно, бери его. Так нет, мы все сомневаемся — больно уж близко!..

— К чему вы это, Петр Никифорович? — в упор спросила Марина, чувствуя, что щеки у нее розовеют.

— Да так это я, без всякой мысли, — ушел в сторону Волков. — Ты в Никодимовке была?

— Была. А что?

— Не знаю, сказывала тебе мать или нет: объединились мы с ними в прошлом году. Ну вот, надумали мы им свет провести: коль один колхоз — значит все одинаково. Те рады, конечно, а не верят. Столбы завезли, ямы рыть начали — не верят. Приходит один раз оттуда Климахин, подает мне письмо, говорит: на, почитай, Никифорыч, и тебя тут касается. Прочитал я. Это кум ему пишет, тоже никодимовский. С Черного моря, вон аж куда за счастьем-то махнул! Ну это так, к слову... А пишет вот что. Сказки, говорит, кум рассказываешь — и про трудовень и про все прочее. А насчет свету, не серчай, говорит, давно врешь. Не бывать тому в Никодимовке и через десять лет! На то, говорит, спорю — приеду весной в отпуск, — литр за тобой...

— Ну, а дальше? — с интересом спросила Марина.

— Дальше, прошла зима, весна настала. Линию мы протянули, «Сельэлектро», правда, с нас двести тысяч запросило, так мы своими силами все поставили — ихнего представителя только на приемку позвали... А под самый май черноморец тот приехал. Климахин-то прямо со станции с черноморцем этим самым ко мне. Поедем, говорит, Никифорыч, неверующего наказывать. Ну что ж, поехали. Прибыли, за стол сели — все чин-чином. А черноморец-то, видать, про письмо забыл или там вспоминать не хочет. Ну, выпили по одной, по другой, я гостю-то и говорю: мы тебя, мол, уважили, теперь ты свой проспоренный литр ставь. Какой, говорит, проспоренный? Ничего я не проспорил! Климахин тут выключатель и повернул: горит свет в Никодимовке! Ну, тут черноморец и вспомнил. Работает теперь, да здорово работает!

— Где работает?

— Как где? У нас в колхозе, в своей Никодимовке: съездил за своим наследством и живет. Многие сейчас, Мариша, на родные гнезда возвращаются. Одна ты вот не хочешь, а я тут и место тебе берегу.

— Петр Никифорович, да я...

— Шучу, Мариша, шучу. Дело хозяйское. Надолго к нам?

— На месяц. Хочу завтра на работу выйти. Можно?

— Спасибо только скажем. Уборку начинаем, хлеба видала какие — задавят!

— Значит, договорились. Ну, я не буду мешать.

— Гуляй, Мариша, гуляй. Куда сейчас?

— К маме схожу.

— Проведай мать, проведай. Погляди, как она там. Золотой она у тебя человек!

Марина встала.

— Заходите к нам, Петр Никифорович.

— Непременно, Мариша. Нынче уже не смогу, а завтра вместе со старухой заявлюсь. Мы еще с тобой на досуге поговорим. Не сердись на старика-то!

— Что вы!

Марина была уже в дверях, когда за спиной снова зарокотал басок Волкова:

— Алло, барышня! Соедините меня с райисполкомом, не доругали давеча малость...

На улице, как и час назад, было пусто. Народ в поле. Завтра и она пойдет — встретится с подружками, повидает всех. Марина усмехнулась: обижается Петр Никифорович, а разве она от села отстала? Девчата с ее курса почти все на Кавказ поехали, а она — домой...

За околицей Марину догнал треск мотоцикла. Девушка привычно посторонилась, черный тяжелый «ижевец» выскочил вперед и резко затормозил.

— Марина!

Еще не подняв головы, Марина узнала этот голос, вздрогнула. На мотоцикле, широко упершись ногами в землю и улыбаясь, сидел Сергей Вешняков.

— Здравствуй,— как можно равнодушно сказала Марина.

Вешняков соскочил с мотоцикла, подошел, крепко пожал руку. Глаза их встретились, они быстро оглядели друг друга: он ее — раскрасневшуюся, напряженную, с нахмуренными пушистыми бровями и крохотным родимым пятнышком на верхней губе; она его — обветренного, скуластого, с закинутыми назад выгоревшими волосами, в синей майке, обтянувшей крепкую широкую грудь.

— С приездом,— оживленно говорил Сергей.— Давно тебя не видел!

— Да, давно.

— Ну, как — агрономом будешь или дальше, в ученые?

— Угадал, в аспирантуру собираюсь.

— Ого! Замуж не вышла?

— Ты не подождал, а другого пока на примете нет, — пошутила Марина, невольно вложив в ответ больше правды, чем шутки.

Сергей засмеялся — весело, искренне, и та легкость, с которой он принял шутку, больно царапнула Марину.

— Чего ж тебя ждять? Ты все вверх да вверх. А я земной. Женат уж второй год.

— Знаю... Работаешь где?

— Механиком. Заочно учусь. Пора сейчас у нас горячая, — Сергей увлеченно начал рассказывать об уборке, машинах, всем своим видом и тоном как бы приглашая Марину вместе порадоваться хорошо идущими делами. Марина молча слушала, изредка вглядываясь в Сергея, и невольно сравнивала его с ребятами-однокурсниками. Сравнение явно шло в пользу Сергея — в нем говорил уже человек самостоятельный, знающий себе цену и свое место — работник.

— Заговорил я тебя, — снова засмеялся Сергей. — Ты куда сейчас — не на ферму? Подвезу тогда.

Марина покачала головой.

— Нет, домой. Ты езжай.

— Ну, ладно, — Сергей поблестел синими глазами. — Заходи к нам. С Леной познакомлю, она тебе понравится.

— Спасибо.

Мотоцикл взревел, Сергей взмахнул рукой и лихо рванул с места. Марина с минуту постояла, бездумно прислушиваясь к удаляющемуся треску, и повернула назад. Нахлынувшие мысли, вызванные двумя встречами сегодняшнего дня, требовали единения.

Мать, оказывается, уже побывала дома. На кухонном столе в эмалированной миске лежали огурцы и помидоры, на клочке бумаги почерком матери — крупным и ломаным — было написано: «Обедай, Мариша, все в печке. Приду теперь вечером».

Марина машинально взглянула в зеркало — улыбающаяся утром девица посмотрела на нее теперь грустно и устало. Стукнув о пол сброшенными босоножками, Марина легла на кровать, закрыла глаза.

...С Сергеем Вешняковым Марина закончила десятилетку. Четыре года подряд, каждое утро, Сергей и Марина отправлялись за шесть километров в Спасское — в своем селе была только семилетка — и к вечеру возвращались в Черепановку. Вместе вступили в комсомол, до хрипоты спорили на собраниях, списывали, забегавшись, один у другого уроки, а с весны, как только начинались каникулы, работали в поле.

В девятом классе, когда у Сергея начали пробиваться золотистые усики, он стал при людях избегать Марины. Уже нередко уходил в школу один и старался задержаться после уроков, пока не уйдет Марина. Правда, почти всегда он нагонял ее в поле и до села они шли вместе — у околицы Сергей, как правило, сворачивал. Марина однажды спросила, почему он не заходит за ней по утрам. «Да ну их — дразнят, — простодушно ответил Сергей, — жених и невеста!..» Марина тогда покраснела, промолчала и, кажется, впервые посмотрела на Сергея как-то по-другому. До сих пор она не задумывалась над тем, что Сергей — мальчишка, а она — девчонка.

В мае Сергей и Марина сдавали переводные экзамены в

десятый класс. Первый экзамен — письменную работу по алгебре — они сдали одновременно, вместе вышли из класса, да так вместе и отправились домой. Настроение у обоих было превосходное: задачи, как выяснилось, решены правильно, волнения улеглись, следующий экзамен только через три дня и, в довершение ко всему, был чудесный солнечный день.

Весело переговариваясь, они прошли через поле, спустились в овражек, где неумолчно, и зимой и летом, звенел Попов ключ. Ключ бил прямо из-под корней старой ольхи; кто-то воткнул в ямку широкое лыко и вода журчала по нему, студеная и вкусная. Хозяйки из Черепановки, когда не ленились, ходили сюда за водой — считалось, что чай из ключевой воды вкуснее, чем из колодезной.

Марина наклонилась, зачерпнула в ладонь воды. Косы у нее упали со спины, открыв нежную, береженную от солнца, шею. Неожиданно для самого себя Сергей тоже наклонился и чмокнул розовую ложбинку.

Марина выплеснула воду, сердито обернулась:

— Ты что?!

Сергей сконфуженно засопел, нелепо взмахнул рукой и уронил в ручей полевую сумку. Хрустальные ледяные брызги обдали их, Марина и Сергей облегченно засмеялись, о случившемся больше никто не вспоминал. Марина, еле успевая, шагала рядом с Сергеем, и в груди у нее ликовало: впервые в жизни ее поцеловали, «скуластик» поцеловал!..

Через год, возвращаясь с выпускного вечера, Сергей и Марина снова зашли на Попов ключ. Занимался рассвет, дымились росные луговины, сонно журчал ручей. Марина черпала пригоршнями ледяную воду, но Сергей уже не пытался поцеловать ее. Он стоял рядом, какой-то повзрослевший, впервые не таясь курил и бросал обидные слова:

— Никуда я сейчас не поеду. Все из колхоза бегут, давай и мы, значит, бежать! Потом на готовое приедем — с дипломами!

Марина гневно выпрямилась.

— Не бежать, а учиться! Понятно тебе?

Сергей хмуро усмехнулся.

— Ну что ж, будем считать, что мы ни о чем не спорили.

Молча они выбрались из оврага, молча дошли до села. Марина открыла калитку, села на крыльцо и уткнулась головой в колени...

Выйдя доить корову, мать увидела плачущую на крыльце дочку, швырнула подойник, обняла Марину за вздрагивающие плечи и принялась выпытывать ее обиду.

— Глупенькая ты моя, не плачь. У тебя все бабьи слезы еще впереди...

Через год, когда Марина приехала на каникулы, Сергея в Черепановке не оказалось: он был в областном центре на кур-

сах. На следующий год не приехала в Черепановку Марина: зимой, сообщая в письме о всяких сельских новостях, мать коротко упомянула о женитьбе Сергея на новенькой учительнице. На лето Марина уехала к больной тетке, сестре матери. Вскоре туда приехала и мать — тетку похоронили. В прошлом году Марине снова не довелось побывать дома — с матерью она повидалась на сельскохозяйственной выставке и на все лето уехала на практику в Казахстан. С Сергеем Марина встрети-лась только через три года — сегодня...

Лежа на кровати, Марина вспоминала все это, и, как ни крепилась, из-под крепко сведенных ресниц скатывались слезы. Все из-за тебя «скуластик»! Думала, что все уже забылось, а оказывается — нет! Ну и пусть! Уедет она в Москву, забереет маму и никогда не вспомнит о Черепановке! Будет работать в институте, станет со временем доктором наук и когда-нибудь, увидев ее портрет в газете, механик Вешняков еще вздохнет!..

На побледневших щеках девушки снова проступил румянец, ресницы постепенно высохли.

Проснулась Марина, когда в окнах синели уже ранние летние сумерки. Секунду—другую девушка лежала с открытыми глазами, потом, все вспомнив, засмеялась: эх ты, доктор наук!..

Умывшись, Марина вышла на улицу, присела на лавочку. Чуть слышно шумела береза, сквозь ветви, склонившиеся почти до земли, было видно, как в окнах вспыхивают электрические лампочки. Село оживало. Мычали возвращающиеся с пастбищ коровы, скрипели ворота, женщины громко зазывали заигравшихся ребятишек ужинать, где-то за околицей запел баян — должно быть, с поля шла молодежь.

Забелела в синеве косынка, и голос матери окликнул:

— Мариша, ты?

— Я мама.

Мать села рядом, обняла Марину.

— Собрание у нас было, припоздала.

От матери исходил легкий, какой-то очень обжитой, уютный запах луговых трав и парного молока. Как в детстве, Марина прижалась к ней, закрыла глаза. Прислушиваясь к еле внятному шороху листьев, к простым и понятным звукам сельского вечера, Марина растроганно думала: да, она дома и счастлива этим! А та ее первая девичья боль утихнет.

Мать легонько толкнула Марину, засмеялась:

— Так и будем в молчанки играть? Пойдем ужинать.

— Идем, мама, — Марина невидимо в темноте улыбнулась. — Есть хочется! Да, мама, Петр Никифорович завтра с тетей Настей в гости придут.

— Пускай идут, — щелкая выключателем, добродушно отозвалась мать. — Хорошим людям завсегда рады.

П Р Ы Ж О К

Речка, пересекающая этот город, разве что весной в половодье способна внушить к себе уважение. Летом же — только любовь.

Летом прежние крутые бережки остаются где-то далеко-далеко от воды, сама же она под жарым ручьем укладывается в середину опустевшего русла и поблескивает там, как маленькая безделушка, попавшая в большой футляр.

Уползает она туда как-то незаметно для горожан, наспех соорудив себе новые берега из темнозеленой, до ломкости сочной травы.

Эти «летние» берега — лучшее место для вечерних прогулок. Сколько там тропинок, протоптанных ногами влюбленных! Иные тропки причудливы, как сама любовь, иные — как она же — внезапно обрываются у пустычного препятствия: валуна или бревна, неведь откуда взявшегося...

Поздней ночью, когда ручей, просмоленный темнотой, кажется бездонным, а складки «зимних» берегов забиты плотными тенями, это место выглядит диковато и пользуется не очень доброй славой у старожилов.

Сережа Перевалов, актер драматического театра, относится к ночной реке без предвзятостей. Приехал он в этот город на летние гастроли и квартира ему досталась, по молодости лет, на окраине, за рекой. После вечерних спектаклей Сережа возвращается домой пешком (трамваи уже не ходят) и реку пересекает не в том месте, где мост, а ближе к дому, по жердочке, перекинутой через воду.

Путь этот соблазняет Сережу не только краткостью. Приятно, как ни говорите, прыгнуть с зимнего бережка и несколько минут чувствовать под ногой не мертвый асфальт, а живую скрипучую траву. Она дышит тебе в лицо луговой свежестью и кажется чудом после бутафорской театральной «природы», которая благоухает клеевой краской и противопожарной смесью.

Приятно заглянуть в ручей, битком набитый мокрыми звездами, потом ступить на жердочку и очутиться как бы между двух вселенных: одна — над головой, другая — под ногами.

Бывает, нижняя вселенная вдруг взбаламутится. Это лягушка, не сознавая своего кощунства, прыгнет с одной звезды на другую. Иногда и сам Сережа, не рассчитав шага, ступит на лунный диск или, скажем, в созвездие Гончих Псов. Тогда начинается маленькое светопредставление. Луна разбивается вдребезги, а Гончие Псы бегут врассыпную, как простые дворняжки.

После этого Сереже долго приходится сидеть на берегу разувшишь и чистить обувь от липких водорослей, которые, на языке местных старушек, называются рыбьей пряжей.

И только один раз встретился Сережа на берегу с человеком. Но как встретился!

Однажды, перед постановкой в театре «Разбойников» Шиллера, Сережа возвращался ночью домой и гадал, какую роль ему дадут в спектакле. Как все комедийные актеры, Сережа тайно и страстно мечтал хоть раз в жизни сыграть героическую роль. Но увы, уделом его были комедийные и характерные роли. Однако Сережа, не переставая, верил, что мечта его по «зрительской» слезе когда-нибудь да осуществится.

Вот и сегодня, накануне распределения ролей, возвращался домой уверенный, что в «Разбойниках» сыграет Карла Моора. На радостях он даже вспомнил из этой роли несколько фраз, известных еще по театральному училищу, и, все больше увлекаясь музыкой слов, стал повторять их сначала про себя, потом шепотом и даже вслух — благо, улицы были пустыны.

Так, в образе Шиллеровского разбойника добрал он до того места, где нужно прыгать с крутого зимнего берега.

Прыгнул и... замер удивленный. В двух шагах от Сережи раздался легкий вскрик и топот ног. Какой-то человек кинулся бежать вдоль берега. Разглядеть бегущего, хотя бы очертания его тела, нельзя было из-за темноты. Оставалось по самой темноте судить о его движении. В том месте, где он бежал, темнота стремительной полосой уносилась вперед, словно на нее подули.

Но вот человек взобрался на кромку берега и стал виден весь — от ботинок до кепки. Это был рослый мужчина, наверно молодой, потому что на берег вскарабкался быстро и ловко, а это дело не простое — Сережа знал по собственному опыту.

Не сбавляя шага, мужчина побежал дальше и вскоре скрылся из виду. Береговая темнота вокруг Сережи вновь сделалась неподвижной. Неподвижной, но... не безлюдной. Чутьем угадывал Сережа, что кроме него и убежавшего человека, темнота скрывала еще кого-то. И этот «кто-то» близко, в нескольких шагах — притаился и не желает себя обнаруживать.

Сереза запустил руку в карман, схватил фонарик.

Желтый, трепещущий круг от зажженной лампочки лег на траву, потом скользнул по отвесному береговому срезу и на-шел, наконец, то, что искал.

Батюшки, до чего же не страшной оказалась добыча! Две босые ноги, еще не просохшие от купанья, край цветастого платья и оттопыренная маленькая рука, с необычайной силой сжимающая ремешки снятых парусиновых босоножек.

Встретясь со всем этим, электрический зайчик вежливо за-мер на месте, но ненадолго. Став озорным, он скакнул ввѣрх, к лицу девушки. Потом спрыгнул вниз и виновато улеся у ног Серези. Лицо было некрасивым. Непомерно суженное к под-бородку, оно казалось еще уже из-за толстой косы, обвитой вокруг головы. Маленькие глаза щурились злым, игольчатым взглядом, в них неприятно было смотреть.

Конечно, он, Сереза оскорбил девушку бесцеремонным разглядыванием, тем более нахальным, что сам оставался не-видимым. Он бы мог потушить фонарик, когда увидел ноги и цветастый подол, но, сами посудите, может ли молодой чело-век, случайно увидев стройные девичьи ноги, не заглянуть в лицо? Неужели за это надо так дико ненавидеть? Не бояться, не удивляться, а именно — ненавидеть.

Но кто эта девушка? Как попала сюда в поздний час? По-чему одна?

Долго раздумывать Серезе не пришлось.

— Попробуйте только. Разденьте только, бандит несчаст-ный!

Это говорила она, голосом таким же злым и сухим, как ее лицо. Кому говорила? Сереза снова пустил в ход фонарик, на этот раз разыскивая хулигана, что собирается напасть на де-вушку, но, случайно чиркнув светом по ее лицу, понял: неза-чем тратить энергию — электрическую и душевную. Это его, Сергея Перевалова, принимают за грабителя. Это к нему обра-щен ее ненавидящий взгляд!

Сереза чуть не рассмеялся от неожиданности, но как чело-век, наделенный чувством юмора, то есть больше всего сам боящийся попасть в смешное положение, подавил в себе смех.

— Успокойтесь, пожалуйста! — воскликнул он немного теат-рально, но искренне. — Я жуликов изображаю только на сцене!

И он великодушно осветил фонариком свое лицо в надеж-де, что если девушка хоть раз была в театре, она не только узнает его лицо, но вспомнит фамилию, а может быть, и имя. Это убедит ее, успокоит лучше слов.

Вероятно, девушка бывала в театре. Когда Серезины глаза привыкли к темноте, он увидел, как усталым движением опустилась она на землю и принялась надевать босоножки.

Иногда чужие слезы заметны не потому, что они есть, а по-тому, что их стараются скрыть. Не старайся, девушка, так

долго и неправдоподобно застегивать уже застегнутые босоножки, Сереже и в голову не пришло бы, что она плачет. Но эта поза, эта рука, которая не решается вытирать слезы у глаз и вытирает их у самого подбородка! Значит, ее не обрадовало признание Сережи, что он не грабитель. Странно.

И тут Сережа вдруг вспомнил бегущего мужчину. Ба! Ведь это не чужой ей человек. Он был вместе с ней до Сережиного прыжка. Вместе с ней гулял по берегу, а во время внезапного Сережиного «налета» бросил одну и убежал, а она осталась, потрясенная его предательством. Это близкий, дорогой ей человек. Ей, любящей и бесстрашной, легче было бы видеть в Сереже настоящего бандита, — по крайней мере, не таким жалким выглядело бы бегство. А теперь...

Нет, не с берега на траву прыгнул Сергей Перевалов. Он прыгнул в чужую судьбу и натоптал в ней до черной земли.

Захотелось сказать незнакомой девушке что-то хорошее, вернуть ей спокойствие, которое заслужила. Но задушевные слова лежали где-то под гнетом, а говорить ерунду, просто болтать не хотелось.

Не скажешь же в самом деле: «Ах, извините, что из-за меня от вас убежал жених!» Но молчать тоже тягостно и Сережа решил сказать самое обыденное, но необходимое.

— Встаньте, я вас провожу.

Она вскинула к нему лицо, наверное, хотела ответить: «уйдите» или «отвяжитесь» — исконную девичью дерзость, но видно и для этого единственного слова не нашлось у нее бесслезного голоса.

Она молча встала и пошла вдоль берега, в сторону, противоположную той, куда убежал мужчина. Сережа — за ней.

Всю дорогу они молчали, всю дорогу Сережа чувствовал ее неприязнь, оправдывал эту неприязнь и казнил ее.

«Дурак! Сыграл роль разбойника, исторг слезы — радуйся теперь. Улепетывающий жених — вот твоя награда! Не прыгни я с этого дурацкого берега так не вовремя, люди и сейчас были бы счастливы. И всю жизнь были бы счастливы. Поженились, и до конца дней не знали разочарований. Жизнь ведь может пройти так, что не подвернется случая мужу обнаружить свою трусость, а жене — заметить ее. Не каждый же день людям на головы падают шалапутные актеры!»

Но через несколько минут мысли и чувства Сережи резко изменились, словно их перевели на другую волну.

Это случилось, когда они с девушкой дошли до места, где в зимнем берегу чьей-то сердобольной рукой были высечены глиняные ступеньки.

Он хотел помочь ей взобраться на ступеньку, но не успел дотронуться до локтя, она отдернула руку и начала взбираться сама.

Теперь неприязнь девушки почему-то раздражала, казалась

несправедливой. Положим, он виноват в ее несчастье. Но почему она считает виноватым только его, а не того, кто убежал?

Какую роль сыграл Сережа в этом несчастье? Всего навсегда роль неодушевленного предмета. Можно ли обижаться на неодушевленный предмет? Свалились на них вместо актера Сергея Перевалова каменная глыба или водосточная труба, жених ее удрал бы с тем же успехом. А в жизни, если хотите знать, таких каменных глыб и в прямом и в переносном смысле — хоть отбавляй. Уж не думает ли неулыбающаяся девица, что без его, Сережиного прыжка ее жених не показал бы, каков он желудь? Раз считается, что в каждой жизни найдется место для подвига, значит и для малодушия найдется.

Подвиг и малодушие растут на одной почве и цветут рядом, как иван-да-марья, — выбирай любое.

Пусть еще спасибо скажет, что вовремя прыгнул, а не тогда, когда поженились бы и имели кучу детей. Впрочем, если она жалеет, что потеряла своего сокола, кто мешает догнать его и помириться? А она так и сделает. Не сегодня — завтра. Сокол не из щепетильных, как видно. А главное, не боится быть смешным. Хорошо живется тому, кто не боится быть смешным!

Эта мысль окончательно рассердила Сережу. Когда подошли к ее дому и девушке оставалось только отворить калитку и уйти, его «до свидания» было ничуть не добрее ее «до свидания».

...Прошел месяц. Многое изменилось за это время. Роль Карла Моора досталась другому актеру, но на очереди был еще один романтический спектакль — «Ромео и Джульетта», и теперь Сережа, возвращаясь домой, повторял роль Ромео. Однако с обрыва прыгал менее «вдохновенно» и прежде чем прыгнуть, тщательно освещал землю фонариком.

О незнакомой девушке вспоминалось все реже, с легкой грустью, как о человеке, в памяти которого остаешься не таким, каким желал бы.

Бывали минуты, когда ему неудержимо хотелось разыскать ее маленький домик, открыть калитку, окликнуть девушку по имени, а когда она выйдет на крыльцо, взять за руку и сказать... Что сказать?

Оправдаться? Попросить прощения? В том то и дело — сказать нечего и ходить незачем, потому что одно появление его сразу напомнит о позоре, пережитом на берегу. Нет уж, пусть остается, как есть. Да и имени он ее не знает и дом вряд ли найдет...

Но имя он все-таки узнал. Узнал в последний день гастролей, за полчаса до отъезда.

В театре была та счастливая суতোлка, какую всегда поднимают люди, собираясь домой. Уже почти все актеры сидели

в фойе на чемоданах, и администратор, маленький сухонький старичок, пересчитывал актеров, как цыплят; если кто оказывался без вещей, он морщил лицо, самой крупной «чертой» которого были очки, и говорил:

— Имейте в виду, я не погоню машину за вашими авоськами. Либо тащите их сюда, либо без них поедете.

Сережа ожидал машину не в фойе, а в маленьком театральном скверике. Сидел на своем холостяцком чемодане и, облокотившись о решетчатую ограду, рассматривал уже по-осеннему прозрачное и чистое небо. Только что там пролетел самолет, оставив после себя прямую белую полосу. Полоса перечеркнула небо от края до края, и оно стало похоже на треснутое стекло.

— Вот он где! — раздался вдруг над Серезиным ухом голос администратора.— Правду мне сказали актеры: ищите Серезу, где побольше природы — ручейки, птички, листочки. Хе-хе, ну, сиди, сиди, машина еще не пришла. А как услышишь гудок, — бегом к нашему стаду!— Администратор повернулся было на каблуках бежать в фойе, но вдруг остановился, хлопнув себя по карману и достал оттуда почтовую открытку.

— Ах, я старая дерюга! Совсем забыл! Весь день в кармане ношу. — И протянул открытку Серезе.

Сережа взял открытку, удивленно повертел в руках и покраснел. На лицевой стороне незнакомым почерком было написано: «Театр, артисту Перевалову». А на обратной — всего четыре слова: «Спасибо за прыжок, Мария».

ФАЛЬШИВАЯ НОТА

Недавно певица из нашего хора сказала мне:

— У вас, Аркадий Михайлович, чисто оперные придирки, а мы всего лишь самодеятельность.

Это она к тому, что я, бывший оперный певец, требую от них профессионального пения. И буду требовать! Если ты пришла сюда петь арию Антонины, делай, что Глинка тебе велел. Глинка не написал на партитуре «для самодеятельности», значит, изволь поднять самодеятельность до его требования, а не наоборот.

Когда я спорю о музыке, то я в пылу роняю на пол очки, и спор на этом обычно кончается. Звон разбитого стекла лучше слов убеждает противника, сколь дорога мне музыка.

Да можно ли не дорожить музыкой-то? С чем ее сравнишь, музыку-то? Хорошая книга тоже действует на человеческое сердце. Но отыщите самого даровитого писателя и дайте ему в руки две буквы. Что он исторгнет из них? В лучшем случае, какое-нибудь пошлое «ах» или «уф». А Бетховен, Людвиг ван, взял две ноты и сотворил свое гениальное та-та-та-та-ааа... та-та-та-таааа... Помните, надеюсь, пятую симфонию. Ну, то же.

Я человек немолодой, одинокий. Мысль о смерти не пугает, привык. Но как только подумаешь, что на этом свете есть это самое та-та-та-та, а на том свете не будет та-та-та-та, не лень, право, и к врачу лишний раз сбегать, для продления жизни.

На меня многие обижаются, что в хор строго принимаю. Иные обзаводятся записочками от администрации «прошу принять молодое дарование и т. д.» Не смешно ли? Ты предъяви мне сначала абсолютный слух, музыкальное чутье, умение работать, голос, го-лос! А записочка — дело второстепенное. Записочка за вас, извините, петь не будет.

Клянусь парафразой Верди — Лист, ни одно безголосое да-

рование не пролезло в хор машиностроительного завода, с тех пор, как я руковожу.

Впрочем, виноват... Был случай. Особенный в своем роде, неповторимый, но лучше расскажу по порядку.

Решил я однажды пополнить хор новыми голосами, дал объявление. В день пробы голосов народу явилось многое множество, в том числе девушка одна с электрическими кудряшками.

Почему я обратил внимание на эту девушку? Вела себя странно. Пришла чуть ли не раньше всех, но к роялю не подходила, даже тем, кто опоздал, уступала свою очередь петь. «Робеет,— думаю,— ждет, когда все уйдут».

Так и есть. Когда мы остались одни, она прикрыла дверь плотней и приблизилась ко мне вовсе не робко, как можно было предполагать.

— Я спою вам «Жаворонок» Глинки и «На байдарке», не помню кого.

И, не дожидаясь музыкального вступления, затянула.

— Между-у-у не-е-е-бом и-и-иии земле-е-й...

Мне стало ясно, почему она стесняется петь на людях. Представьте себе нечто среднее между скрипом трамвая на повороте и воплем человека, которого собака ухватила за ногу. Таков ее голос. Бетховен, Людвиг ван, услышав такое пение, оглох бы вторично. Я бы тоже с удовольствием, но у меня правило — дослушивать исполнителя до конца.

После «Жаворонка» девушка немного передохнула, потом ее снова укусила собака, она запела «На байдарке».

— Ну, как ваше впечатление? — спросила она, сменив пение на разговор, и моим ушам почудилось, что она сменила гнев на милость.

Я ответил ей вежливо-ехидным тоном, какой припасен у меня специально для бездарностей.

— Душенька, говорю, если бы мы с вами сейчас имели счастье в самом деле плыть на байдарке, я при первых бы звуках вашего голоса опрокинулся в воду. И наоборот, рыбы, оглушенные пением, всплыли бы на поверхность кверху брюшками. Как бы то ни было,— продолжал уже более строго,— я предпочитаю, чтобы вы пели на реке, на лужайке или где-нибудь э.. между небом и землей, только не у меня в хоре. Прощайте.

— Подождите, не уходите,— воскликнула девушка и судорожно ухватилась за край шляпы, которую я собирался надеть.

Меня озадачило, что она огорчилась моим отказом так глубоко, как если бы имела истинный талант. Побледнела, отчаянно закивала кудряшками, зазвени они при этом, получился бы сигнал о спасении жизни.

— Я знаю, я плохо пою, но я прошу... голос же можно отшлифовать...

— Отшлифовать то, чего нет? Или что существует лишь в воображении?— спросил я скептически.— Попробуйте в таком случае отшлифовать ось земли, совесть крокодила или камень преткновения. Увы, мы мало пользы принесем друг другу на музыкальном поприще. Единственное, что нас связывает,— моя шляпа, за которую оба держимся очень цепко. Отпустите ее и разойдемся друзьями. В противном случае, сам отпущу, ибо легче пожертвовать шляпой, чем принципом.

Она опустила руки и сердито отвернулась.

— Ну и ступайте, если... если не жаль разбить молодую семью.

Я опешил, как Руслан в первом акте, как Онегин в последнем. Доселе, кроме собственных очков, я ничего не разбивал и вдруг... молодая семья...

— Объяснитесь, пожалуйста.

И она объяснилась. О, говорите после этого, что хоть одна бездарность пролезла в искусство бескорыстно.

В нашем хоре поет ее муж. Они живут так дружно, так дружно, всюду ходят вместе. И только хор, разлучник этакий, отнимает мужа по вечерам. А когда хор уезжает на гастроли — сущая инквизиция отпускать его одного. Ах, как хорошо было бы присматривать за ним в поездке... Неужели нельзя сделать исключение ради семейного счастья?

Как вам это понравится?

Но как понравлюсь вам я, если скажу, что ее галиматья проникла мне в сердце, минуя голову.

Пропой она мне всю эту историю, нахлобучил бы шляпу и был таков. Но она ее проговорила и... я остался. Нет, дело не в словах, они были серые, одинаковые все, как камешки. Но между ними, между словами то есть, пробивалась такая свежая и молодая, такая, знаете, живучая любовь... О, недаром Пушкин сравнил любовь с музыкой. Попробуй не поддаться ей, попробуй веселиться, когда она печальна, или грустить, когда весела. Она силой навяжет свое настроение и сделает с тобой, что захочет.

Минуты не прошло, а я уже с сочувствием смотрел в приметное лицо своей гостьи. Ее маленький лобик стал еще меньше от напряжения, на щеках румянец, обрезанный кругом, словно в типографии отпечатанный,— выступил от стыда и волнения и был, признаться, единственной яркой чертой во всей физиономии.

«Право,— подумал я,— в ее просьбе есть резон. Такая женщина всегда должна быть на виду, чтобы о ней помнили».

Видите, я уже уговаривал себя капитулировать, но вдруг припомнил ее пение и заворчал:

— Только женщине, к тому же безголосой, может взбрести в голову такая чушь. Войти в храм искусства, храм Римского-Корсакова, Верди, Верстовского, чтобы присматривать за каким-то Иваном Сидоровичем или Сидор Ивановичем.

— Моего мужа зовут не Сидор Иванович, — перебила женщина, — а Саша Летяев.

Это имя мгновенно уравнило наши роли. Передо мной была уже не девушка с фальшивым голосом, а частица Саши Летяева — лучшего солиста нашего хора, моего любимого певца и ученика.

Саша — шофер по профессии. Ах, что за голос, что за бас!

Когда Саша поет, а вы в это время смотрите на какой-нибудь предмет, хотя бы на эту полинялую скатерть, заляпанную чернилами, скатерть кажется вам бархатной, а чернильные пятна — фиалками.

Степень моей любви к Шашиному голосу можно обозначить одним словом — фортиссимо.

Капитуляция пошла живей и под прикрытием самых веских обоснований. «Если разлука, — рассуждал я, — так же отрицательно сказывается на муже, я не только имею право, но обязан принять жену в хор. Этим создам Саше творческую обстановку, голос его станет еще бархатней, исполнение еще благородней.

И я сказал, сдаваясь:

— Хорошо, поставлю вас во втором ряду, сзади певицы Парамоновой. Она дама высокая, плотная, сквозь нее не проникнет в зал ни одна ваша нота. Однако прошу петь потише. Если угодно, вовсе не раскрывать рта. Испытательный срок — месяц.

И вот она принята.

Вы хотите знать, как пошли у нас дела дальше? Достаточно сказать, что в испытательный этот месяц я разбил восемь пар очков. Но если бы потери исчислялись лишь количеством стеклянного боя!

Вы знаете, что значит в музыке одна фальшивая нота. Только добьешься чистоты звучания, всеобщей, повальной, так сказать, гармонии, когда можно самому закрыть глаза и слушать, слушать, не унимаясь... Как вдруг из второго ряда в воздух ввинчивается эта самая нота и — все насмарку.

Начинаются пререкания, все нападают на Парамонову, она уверяет, что в спину ей ударяет ужасная какофония, невозможно петь, попробуйте сами стать на ее место и т. д.

Но больше всего неприятностей доставил мне Саша. С того самого дня, как я начал создавать ему творческую обстановку, он пел все хуже и хуже, наконец совсем сбился с голоса.

Что-то творилось у него в душе.

И вот однажды является он ко мне — прямо на квартиру, один.

— Аркадий Михайлович, я прошу меня из хора исключить. Я едва успел взять в руки — нет, не себя — свои очки.

— Не могу этого сделать, — сказал я, как можно хладнокровнее.

— Хотите, значит, разбить молодую семью?

— Саша, я кроме собственных очков...

— Знаю. Зачем вы приняли ее в хор? — перебил меня Саша и заходил по кругу. Комната у меня маленькая, а стол круглый, если человек волнуется, он может ходить только по кругу. — Не могу я видеть, когда жена выставляет себя на посмешище. Вы меня исключите из хора, она тоже уйдет. И хорошо сделает. Человек должен сам собой, сам собой...

Видно, Саша хотел сказать: человек должен оставаться самим собой или заниматься своим делом, но от волнения пропустил уйму глаголов. Вот на заводе она сама собой, в фасонном цехе ее уважают, там она умная и красивая. А когда человек не сам собой, над ним смеются, даже разлюбят могут.

К последним словам Саша отнесся, будто их сказал кто-то другой — удивленно и тревожно к ним прислушиваясь.

Я начинал понимать, что фальшивая нота в любви может натворить куда больше бед, чем в музыке.

К тому же от Сашиной ходьбы и сокращенной грамматики у меня начала кружиться голова. Я попросил Сашу сесть и рассказать толком, каким образом он мыслит мое участие в склеивании молодой семьи, если я имел неосторожность ее разбить.

Саша обрадовался, подсел ко мне на диван и заговорил с непосредственностью артистической натуры:

— Аркадий Михайлович, вы сами знаете Катю. Красоты у нее не богато, а полюбил ее за красоту. Вот и гадайте сами, как это произошло. Там, в фасонном цехе, она самая видная девушка, потому что там голоса не надо, а ума надо и золотые руки. Этим она богата. Помню, когда еще не женат был, а только дружили с ней, иду как-то по заводскому двору в обеденный перерыв — одевался я тогда чудно: сапоги гармошкой, штаны навывпуск, рубашка атласная из подкладочного материала — конечно, чудно, только самому мне казалось, что одет я, как бог. Рабочие сидят на лавочке, подмигивают друг другу:

— До чего у нас Саша Летяев ф-а-с-о-н-н-ы-й стал!

— Сразу видать, с каким цехом дело имеет.

— Еще бы, к лучшей фасонщице в обработку попал.

Думаете, досадно стало от этих слов? Ничего подобного. Даже через эти насмешливые шутки я почувствовал, как мою Катю люди уважают.

И дома она такая, уважения достойная. Как вдруг хор этот все перепутал.

Что у нас сейчас дома происходит?

Раньше, бывало, придет Катя с работы — хозяйничать начнет или со мной разговоры разговаривает, или же за книжки засядет — она в вечерний техникум готовилась поступать. А сейчас — книжки по боку и что взамен? Песни. Разучивает их целыми вечерами, репертуар наш хоровой одолевает. Хочется бабе испытательный срок выдержать, а что толку, когда слуха нет?

Хитрая, при мне петь стесняется, так уложит меня спать пораньше и давай подвывать до полночи.

Я бы, может, не догадался: шоферский сон, сами знаете, непробудный. Ведь нашему брату всяко приходится. Бывает, заночуешь в поле, тут тебе гром и дождь по кабине — спишь себе, хоть бы хны, слаше, чем на лекции про дружбу и товарищество. Нашего брата, шофера, если хотите знать, разбудить может только свой, шоферской же звук. Например, свисток милиционера, или же баллон спускает, хоть как тихо — все равно проснешься.

Так что во время Катиного пения я мог бы спать спокойно, только почему-то в эти часы меня стали одолевать странные сны и все сплошь шоферские.

То вдруг приснится, что поросенок под колесо попал, визжит. Или же обгоняет меня пожарная машина, а сирена: у-у-у... Постовой свистит — за поросенка ответ держать, улепетьваю от постового на третьей скорости, вдруг из-за поворота трамвай выезжает: кры-кры-кры-кры... Ходу нет, а у меня тормоза не работают. Просыпаюсь в холодном поту.

И так каждый вечер: у-у-у-у — кры-кры-кры — ау-ау-ау... Спрашиваю как-то:

— Катюша, к чему бы это мне каждый вечер уличное движение снится?

— Это, Сашок, оттого, что горчицы на ночь много съедает.

Но однажды, проснувшись, не вскочил сразу с кровати, а полежал несколько минут с закрытыми глазами. Тут-то и понял, какая такая горчица... Аркадий Михайлович, зачем вы ее в хор приняли?

— Саша, она же для вас старается, — сказал я, — для любви же старается.

Саша провел рукой от макушки ко лбу и вверх — именно в таком направлении рос его бесподобный чуб.

— Любовь... Кто ж для нее не старается? — сказал он задумчиво. — Мы все у нее в солдатах состоим. А только каждый на своем посту старайся, тогда, может, тебе награда какая выпадет.

Я счел его рассуждения слишком прямолинейными, какими они обычно бывают в этом возрасте, но спорить не решился, а взял папку с хормейстерскими делами, достал оттуда список участников.

— А теперь, Саша, я тоже постараюсь кое-что сделать для любви, хотя мне не по летам.

С таким же вдохновением, с каким провожу рукой по клавиатуре, я провел карандашом по буквам имени: *Екатерина Летяева*.

...С этого дня очки мои крепче сидят на носу, а принципы — в голове. Саша поет прежним бархатным голосом, а во время концертов, когда среди зрителей 6-го ряда сидит улыбающаяся, принаряженная Катя, на всех скатертях Дома культуры расцветают фиалки.

АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА

В палатке сыро. На улице моросит дождь. Днем мы работали, а теперь развесили над печуркой свои «робы» и портянки и пьем чай. Лешка накинул шинель прямо на голое тело, я поверх чистой рубашки надел зимнее пальто, а Костя сидит в пижамах.

Вместе с нами пьет чай Александр Петрович Викулов, директор совхоза.

Хотя директор и раньше к нам заглядывал, чай с нами он пьет впервые. Мы прекрасно понимаем, почему он к нам пришел, и он знает, что мы это понимаем, но никто не заговаривает о том, что произошло. Всем неловко.

Я тысячу раз проклиная в душе дождь, который не позволяет выйти на улицу и идти в степь, идти, идти, как будто, только двигая ногами, можно подавить тяжелые, нехорошие мысли.

Палатка кажется необычно просторной. Одеяло, которое долго отгораживало ее угол, сейчас снято. На узком и высоком ящике, покрытом газетой, одиноко стоят зеркало и Лешкин бритвенный прибор.

О том, что произошло, лучше не думать, но не думать об этом невозможно.

Сегодня от Кости уехала жена.

Раньше мы жили в палатке вчетвером. Глядя на молодоженов, мы с Лешкой втайне завидовали Косте и жалели, что не успели жениться до отъезда на целину. Нам было приятно, что в нашей палатке хозяйничает красивая, милая женщина с прекрасными и печальными серыми глазами. Иногда она чем-то напоминала нам тургеневских девушек, иногда мы видели в ней пушкинскую Татьяну, иногда нам казалось, что в палатке сидит Анна Каренина.

Короче, мы с Лешкой были немного влюблены в Костину жену и, может быть, именно поэтому не могли влюбиться в девчат, которые приехали на Алтай вместе с нами. Кого из них мы ни сравнивали с Любой — все хуже. Одна — не такая

красивая, другая — не такая умная, третья — не такая женственная.

Люба приехала на Алтай неохотно — только потому, что решил ехать Костя. Но это ничуть не роняло ее в наших глазах. Даже, наоборот, нам казалось романтичным, что ради Кости она уехала от обеспеченных родителей, от удобной московской квартиры и собственной дачи под Истрой.

Мы с Лешкой видели, что ей было тяжело, когда Косте, инженеру с дипломом, приходилось вместе с нами перетаскивать на своих плечах станки для ремонтной мастерской, копать ямы под фундаменты, возить в тачках бетон. Но мы ни разу не слышали, чтобы она упрекнула Костю за это, или за нашу тесную и дымную палатку, или за то, что ей, учительнице, приходится замерзшими пальцами выстукивать на машинке директорские бумажки в область и в Москву.

Мы ни разу не видали, чтобы Люба с Костей ссорились. Лишь в те дни, когда она получала из Москвы толстые заказные письма от матери, Костя ходил хмурый и много курил.

Однажды, когда в палатке никого не было, я заглянул в забытый на ящике листок. Мать писала Любе, что она молодая, красива и прекрасно воспитана. Поэтому ей нет никакой необходимости из-за Костиных фантазий хоронить себя в Сибири и становиться колхозницей.

Больше я прочитать не успел — возле палатки раздался шаг.

Когда вечером я рассказал об этом Лешке, он крепко выругал меня и напомнил, что чужие письма читать неприлично. А потом переспросил о том, что было написано, и с гордостью сказал:

— Чхать на это! Нашу Любу никто не своротит.

Мы были настолько уверены в ней, что, когда нам с Лешкой самим становилось невмоготу и появлялось подленькое желание плюнуть на все и удрать домой, кто-нибудь из нас обязательно произносил:

— А как же Люба?

И все сразу становилось на свои места. Если это может вынести Люба, такая красивая и нежная, то что же говорить о нас!

Живя в одной палатке с Костей, мы из-за Любы иногда почти не замечали его. И поэтому мы часто удивлялись, когда слышали разговоры ребят о замечательном парне, с которым нам якобы посчастливилось жить вместе. Лешка даже не всегда понимал, что речь идет о Косте. Когда его избрали секретарем комсомольской организации, мы тоже не увидели в этом ничего особенного — секретарь так секретарь. Хорошо, что наш сосед, — взносы платить удобнее.

Нам казалось вполне естественным, что Костя первым берет за все трудные дела. Еще бы, ведь у него такая жена!

Мы ничуть не удивились, когда во время пожара на складе Костя первым проскочил через огонь и стал откатывать от горящих досок бочки с бензином. По нашему мнению, Любин муж обязан был сделать это первым.

И, кажется, только сегодня мы поняли, что Костя нам очень дорог. Поняли, когда, вернувшись с работы, застали его растерянным, как и мы, до нитки промокшим, с большими удивленными глазами и измятой запиской в руке.

«Милый Костик! — прочитали мы. — Прости, что сделала все так, а не иначе. Боялась, что иначе не выдержу и останусь. После обеда я уеду с почтовой машиной на станцию и затем в Москву. Догонять меня не надо — машина приходит прямо к поезду, и ты все равно не успеешь.

Остаться здесь я больше не в силах. Видно, я слишком слаба, чтобы решиться похоронить себя в Сибири. Даже ради тебя не могу больше выносить такую жизнь. Жаль, что не послушалась перед отъездом маму. Она, как всегда, оказалась права.

Если ты вернешься в Москву, мы можем счастливо жить вместе. Прости меня и пойми. Твоя Люба».

Мы стояли с Лешкой, растерянно опустив руки, и ничего не могли сказать. Вода капала с наших кепок и ватников, хлюпала в сапогах. Страшно хотелось раздеться и обсушиться, но почему-то это желание казалось сейчас неприличным.

В конце концов Лешка молча стал растапливать печку. Я так же молча начал стягивать с Кости мокрую шапку и куртку. Через несколько минут он уже сидел в пижаме, и мы с Лешкой стали наводить свой туалет.

А еще через полчаса на печке кипел чайник, и Лешка расставлял стаканы на перевернутом ящике, который служил нам столом.

За все это время было сказано только одно слово. Вытаскивая из глубины ящика банку с сахаром, Лешка уронил ее и с досадой произнес:

— А, дрянь!

И тут я неожиданно вспомнил, что вчера Люба тоже получила толстое заказное письмо от матери.

— Костя, — спросил я, — ты, когда женился, знал, какая у нее мать!

— Знал, — ответил он сквозь облако папиросного дыма. — Да ведь женился-то я не на матери... Думал — уедем, и все кончится... Вот и кончилось...

...Когда Александр Петрович вошел в палатку и удобно устроился на моей кровати, мы поняли, что он уже все знает.

Лешка с независимым видом поставил на ящик еще один стакан и стал разливать чай. А я достал банку маминого варенья, которую берег в чемодане неизвестно на какой случай.

После первого стакана Лешка мрачно проговорил:

— Надо в ее школу написать... Пусть знают!

Мне этого показалось мало, и я предложил написать в «Комсомольскую правду». Люба может пойти на работу и в другую школу. Пусть уж знают везде!

— Не надо никуда писать...— задумчиво произнес Костя.

— Это почему?

— Не надо — и все. Пусть делает, что хочет!

Мы не стали спорить. В конце концов это, действительно, было бы похоже на месть, а Люба часто говорила, что месть недостойна культурного человека.

Директор слушал, неторопливо разминал пальцами сигарету и, не глядя, совал ее в мундштук. Сигарета сначала не лезла...

— Я, ребята,— проговорил он, затаившись,— слышал когда-то в юртах одну сказку. Совсем уж было забыл про нее, а сегодня вспомнил. Хотите — расскажу?

— Рассказывайте,— буркнул я и подумал: «Конечно, лучше уж сказки рассказывать, чем молчать».

Александр Петрович затаился еще раз и начал:

— Давным-давно, когда не было на свете даже дедов наших дедов, жил в горах богатырь с большим сердцем. Он был добр и любил всех людей на земле.

И народ любил своего богатыря. О его силе и доброте пели песни.

Как и все добрые люди, богатырь был доверчив. Он делал только хорошее и не верил, что за добро могут отплатить злом.

Однажды он встретил красавицу — дочь великого хана. Богатырь полюбил ее и доверчиво отдал в ее руки свое большое сердце. Он не разглядел под дорогими одеждами красавицы ее маленькое злое сердце, в котором умещалась только любовь к себе.

Вначале ханская дочь гордилась тем, что владеет большим сердцем богатыря. Но потом она увидела, что его нелегко удержать. Сердце билось и жило для людей. Оно мешало злой красавице.

И красавица подумала:

«А зачем мне такое большое сердце? С ним трудно! Пусть оно будет поменьше — мне станет легче...»

И она стала отрывать от большого сердца кусочки и бросать их. Мужчины из племени большого человека подбирали их и прятали на груди. Они прибавляли силы. С ними было теплее жить.

Ханская дочь смеялась:

— Берите, берите. Мне не жалко! Пойте песни и о моей доброте...

Но никто не пел про нее песен. Она ведь давала людям только то, что было не нужно ей.

Большому сердцу было больно. Но оно не могло вырваться из рук красавицы. Сердце любило их даже тогда, когда они рвали его на части.

А красавица продолжала свое жестокое дело, и сердце богатыря становилось все меньше и меньше. Но оно не становилось легче, потому что любовь к людям не уходила из него.

И однажды красавица рассердилась:

«Зачем мне любовь, с которой так тяжело? Что толку от этого тяжелого сердца?»

И она бросила его на камень!..

Блестящими искрами разлетелось оно во все стороны. И с тех пор по ночам эти искры светят людям с неба. И чем темнее ночь, тем ярче светят они. Люди любят смотреть на звезды и поют про них песни.

А красавица скоро затосковала. Женщины часто жалеют о чужих сердцах, когда потеряют или разобьют их. Ей стало скучно. Легкая жизнь — всегда скучна.

И красавица подумала:

«Надо вернуть себе большое сердце. Я отберу у людей те куски, которые когда-то швыряла им».

Но она забыла, кто поднимал их. И тогда она стала ловить всех, кто попадет под руку, и отрывать у каждого по кусочку сердца. Но из разных кусочков разных сердец не складывалось одно большое...

Многие мужчины забывали, что не все красавицы — добрые. Они не видели, что у ханской дочери крошечное сердце, и в нем нет места для любви к людям. Они видели только то, что она красавица. И шли к ней...

Когда она вырывала у них кусок сердца — они удивлялись. А потом уходили к другим женщинам, которые умеют бережно хранить большие сердца.

И никто не жалел о красавице. И никто не сложил про нее песню. Зачем складывать песни про тех, кто любит только себя?

А про большое сердце и про его осколки — звезды, что светят с неба, до сих пор поют люди. Зачем забывать хорошие песни?

...Мы и не заметили, когда директор замолчал. Нам казалось, что сказка все еще продолжается. И когда в печке треснуло полено, и сноп искр вылетел через открытую дверцу на земляной пол, я вдруг почувствовал, что сердце у меня настоящему болит, как будто кто-то вырвал из него кусочек и унес неизвестно куда, неизвестно зачем...

И мне представилась тонкая женская фигурка в малиновом пальто с меховой отделкой, большой кожаный чемодан, которого уже нет в нашей палатке, и красный огонек убегающего в темноту поезда.

Н Е К О Г Д А

Сергей нервничал. Завтра районный комсомольский актив по идеологической работе, а у него еще не готов доклад. И люди, как назло, все идут и идут. Хорошо бы запереться и никого не принимать. Наверно, так и придется сделать...

Когда вышла из кабинета веснушчатая девушка с прикрепительным талоном, Сергей вновь углубился в работу. На бумагу легко ложились привычные фразы:

«Особое внимание райком комсомола обращает на непосредственную воспитательную работу с молодежью. За семь месяцев текущего года проведено в первичных организациях . . . лекций и докладов и . . . бесед на моральные темы».

Цифр еще не было. Сергей снял трубку и набрал номер.

— Вера!— закричал он в трубку.— У тебя цифры по делу готовы? Нет еще? Ты же мне все срываешь!..

Трубка полетела на рычаг.

В дверях появились двое хорошо одетых молодых людей. Мужчина прошел вперед и положил на стол два запечатанных зеленых конверта. Женщина, очень хорошенькая, чопорно, с негнушейся спиной, присела на краешек стула.

— Слушаю вас.— Сергей перевел глаза с женщины на мужчину.

— Поставьте нас, пожалуйста, куда-нибудь на учет,— глядя на Сергея усталыми серыми глазами, сказал мужчина.— Если можно — поближе к дому.

— Почему куда-нибудь? Вы не работаете?

— Нет.

— Оба?

— Оба.

— На что же вы живете?

Мужчина, пошевелив губами, отвел глаза в сторону. Ответила женщина:

— У меня здесь родители. Они поддерживают.

— Можно ваши комсомольские билеты?

Женщина щелкнула замком бархатной сумочки. Мужчина полез в карман.

— Лагунов,— прочел Сергей. Второй билет был на имя Лагуновой Лидии Петровны. Взносы у обоих не платились уже два месяца.

— В чем же дело?— спросил Сергей.— Почему вы не работаете?

— Мы учителя,— ответил Лагунов.— К несчастью, по литературе... А литераторов в нашем городе чересчур много. Вот ищем...

— А где вы работали раньше?

— В Сибири. В Нижне-Туринске. Попали туда после института, а учились здесь.

— Почему же оттуда уехали?

— Из-за квартиры. Два года ждали. Ну и надоело.

— Так-так...— Сергей побарабанил пальцами по столу.— С работой мы вам, к сожалению, пока вряд ли сможем помочь. В нашем районе школы уже укомплектованы...

— Мы знаем,— произнес Лагунов.— Вы нас только куда-нибудь на учет поставьте...

— Ну, а если и дальше так же будет?

— Уедем туда, где есть работа по специальности.

Когда Лагунов сказал это, жена посмотрела на него таким холодным и злым взглядом, что даже Сергею стало не по себе.

— Тогда, может, не стоит вас никуда прикреплять?— подумал он вслух.— Уплатите взносы в райкомовской организации — и все.

— Что же, можно,— согласился Лагунов.

— А по-моему, лучше прикрепить,— неожиданно произнесла его жена.— Когда-то мы еще устроимся... Будем вам надоедать.

— Ну, что вы!— возмутился Сергей.— Это наша работа.

Взгляд его мельком задержался на стенных часах. Была уже половина первого.

— Так, пожалуй, платите взносы нашему секретарю — и делу конец,— сказал Сергей, поднимаясь из-за стола.— Она внизу, в библиотеке. Фамилия Сидорова.

Он снял трубку:

— Валюша! Это я, Сергей Петрович. Сейчас к тебе двое товарищей придут. Прими у них взносы. Ладно?

Лагуновы вышли.

В коридоре они, видимо, остановились возле второй, закрытой двери кабинета, потому что Сергей ясно слышал голос Лидии Петровны:

— Ты эти штучки брось! Я тебе раз и навсегда сказала, что никуда больше из дома не поеду. Хватит! Помоталась!..

— Но нельзя же долго без работы...— возразил Лагунов.

— У папы денег хватит. Будем жить, сколько понадобится...

Лагунов опять что-то возразил, но Сергей не расслышал что. Видно, они прошли дальше по коридору.

«Нехорошо!— подумал Сергей.— Надо разобраться...»

В дверь заглянула машинистка:

— Сергей Петрович, возьмите трубку.

Звонил секретарь райкома партии и просил срочно зайти. «Наверно, про актив спросит,— думал Сергей, торопливо шагая по коридору.— А у меня не все выступления подготовлены и с докладом плохо».

На лестничной площадке он чуть не налетел на Лагуновых, извинился и промчался дальше.

«Поговорить бы с ними сейчас»,— мелькнуло в голове. Но задерживаться было некогда.

* * *

Через три месяца Лагуновы снова появились в его кабинете, такие же нарядные, как и летом.

Лагунов опять положил на стол зеленые конверты с учетными карточками.

— Ну, что, все еще не устроились?— спросил Сергей.

— Как видите, нет.

— Может, вы все-таки нас прикрепите,— попросила Лагунова.— Возле нашего дома трест «Металлургстрой»... Нам было очень удобно.

— Да лучше, как в прошлый раз,— мрачно проговорил ее муж.— Уплатить — и все.

Сергей внутренне согласился с ним. Действительно, к чему увеличивать количество безработных комсомольцев в районе? И так на последнем активе влетело за бывших десятиклассников, которые не попали в вузы и месяцами бездельничают.

Он снова позвонил Вале насчет взносов и встал. Через двадцать минут начинался пленум горкома. Надо торопиться.

В последнюю минуту Сергей вспомнил о странном разговоре Лагуновых в коридоре и спросил их адрес.

«Надо бы забежать,— подумал он,— узнать, что за семья. А то может нехорошо получиться...»

Торопливо записав адрес Лагуновых на перекидном календаре, Сергей вместе с ними вышел в приемную.

* * *

Прижав трубку плечом, Сергей записывал: «В 6 вечера перевыборное собрание в «Металлургстрое». Обеспечить кино».

На новом перекидном календаре писать было трудно. Рука висела. Буквы получались ломаными и, как пьяные, шатались в разные стороны.

Положив трубку, Сергей стал соображать, у кого попросить передвижку — у клуба коммунальников или на швейной фабрике. На фабрике договориться легче, но передвижка у них ни к чему не годится...

В дверях появилась Лагунова. Модное зимнее пальто облегалo ее стройную фигуру. Плечи укутывала чернoбурка.

Достав из сумочки уже знакомый зеленый конверт, она положила его на стол к Сергею.

— Прикрепите меня все-таки, товарищ секретарь,— сказала она и улыбнулась. При этом на ее щеках появились очаровательные ямочки.

— А муж уже устроился?

— Да...

Лагунова стала внимательно разглядывать карту на стене.

— Где?

— Он уехал обратно, в Нижне-Турииск.

— А вы что же?

— Я поеду к нему весной. Сейчас там, знаете, холодно... Сибирь... Квартиры нет... Дрова не заготовлены... А он один в гостинице проживет... Прикрепите меня пока в «Металлургстрой». А то уж неудобно вашу Валю беспокоить.

— Ну ладно,— согласился Сергей и набрал номер.— Зоя, это я. Прикрепи тут товарища Лагунову в «Металлургстрой». Она временно, до весны. Хорошо?

Лагунова вынула из сумочки комсомольский билет.

— Зайдите в сектор учета,— сказал ей Сергей.— Да, завтра в шесть в «Металлургстрое» перевыборное собрание. Вам надо быть.

Лагунова улыбнулась и вышла.

* * *

В июле Сергей неожиданно увидел ее из ложи эстрадного театра. Она сидела совсем близко, в третьем ряду партера, рядом с Борисовым, красивым и шальным инженером из «Металлургстроя». Дней десять тому назад бюро райкома вынесло ему строгий выговор, за то что он бросил жену и дочку.

Когда погасли люстры, при свете прожекторов Сергей увидел, что Борисов целует Лагуновой руки выше локтя...

В антракте Сергей рассказал жене о Лагуновых и о выговоре Борисова.

— Может, сейчас подойти к ним, поговорить, а?— робко спросил он.— Знаешь, прямо в глаза, по-комсомольски...

— Ну, вот еще!— возмутилась жена.— В конце концов ты не на работе. Вызови их завтра к себе и говори, сколько хочешь. А сейчас идем за мороженым.

— Что ж, вызову завтра,— согласился Сергей.

Они вышли в сад. Сквозь зелень деревьев тускло светили круглые желтые фонари. В аллее Сергей поздоровался с секретарем горкома и подумал, что июль кончается, а план работы не выполнен. Завтра днем надо обязательно провести семинар с новыми секретарями, а вечером собрать группу докладчиков. Иначе в горкоме опять влетит...

«ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ»

«Ну, и везет же мне!— подумал Михаил Добров, вытащив билет.— Как утопленнику...»

Третьего вопроса— «Хазарское государство на Волге»— он не знал. В школе про хазар не спрашивали, и в программе о них ничего не говорилось. И ведь надо же в институте, на вступительных экзаменах, вытащить такой билет!..

— Готовьтесь вот там.— Экзаминатор указал на свободный стол у окна.

Высокий худой Добров, слегка покачиваясь, прошел по аудитории и сел к окну.

«Что теперь делать?— размышлял он, пощипывая свои черные усики.— Взять второй билет — больше четверки не получишь. А с четверкой по конкурсу не пройдешь. Может, так обойдется?.. Хоть бы на первые два вопроса по-человечески ответить...»

Военные действия 1943—1945 годов Михаил знал. Период наступления. От Сталинграда до Берлина. Мальчишкой он вырезал из газет сводки Совинформбюро и даже сейчас мог иные из них привести почти на память.

Крымская война. Тут, пожалуй, составить план не мешает. А говорить можно сколько угодно. «Севастопольские рассказы» и «Севастопольская страда» еще не забыты...

Через пять минут план ответа на первые два вопроса готов, и Михаил с тоской смотрит на третий. Проклятые хазары! И зачем они только существовали? Все равно в мировой культуре после них ничего не осталось.

Хазары... хазары... Что можно про них сказать? Во-первых, что у них было свое государство, во-вторых, что оно находилось на Волге. Это ясно из билета, но маловато...

Итак, про хазар есть два факта. С ними как раз двойку и схватишь... И хоть бы кто-нибудь про них написал! Ведь ни один писатель не счел нужным ими заняться. А у Доброва теперь из-за них жизнь сломается. Несправедливо... Да... Хаза-

ры... Неразумные хазары... Почему неразумные? Ага! «Как ныне собирается вещей Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. С дружиной своей...» Ну, впрочем, это уже не надо...

«Спасибо, Александр Сергеевич!— мысленно поблагодарил Михаил Пушкина и вытер холодный пот со лба.— Вывози, дорогой!»

Источник фактов был найден, и они теперь, как бусинки, нанизывались один за другим. Два уже есть. Третий — хазары, видимо, были кочевниками, осевшими на Волге. Иначе откуда бы они тут взялись? Четвертый — они совершали набеги на Русь, а русские отвечали им тем же. В качестве примера можно, конечно, привести известный поход князя Олега. Когда он только был?

«С дружиной своей в цареградской броне...»

Значит, после похода на Царьград. Броня-то трофейная! Договор с Византией — 911 год. Значит, на хазар Олег пошел позже. Пятый факт — дань. Раз набеги — значит, дань. Шестой — время. Олег жил в конце девятого — начале десятого веков. И хазар сюда же. Седьмое — экономическая жизнь. Села и нивы — это земледелие. Бывшие кочевники — это верное скотоводство. Волга — это торговля и рыболовство. Тут все ясно. Восьмое — форма правления. Разумеется, не республика... Царь, наверно, был. Да... Пожалуй, из Пушкина ничего больше не выжмешь. Пойти что ли к карте?

С лениво-скучающим видом человека, который давно подготавлился к ответу, Добров своей раскачивающейся походкой идет к доске, где висят карты. На одной из них написано: «Хазарский каганат VI—X вв.». В его границы входят города Итиль на месте нынешней Астрахани и Саркел на Дону.

Чудесно! Это еще несколько фактов. Раз каганат, — значит, во главе каган, а не царь. Города — это, естественно, торговые центры, а о меновой торговле можно говорить много. Столица, по всей вероятности, Итиль — тут шрифт более крупный. Теперь все это надо только сгруппировать.

Еще через десять минут готов план ответа и по третьему вопросу.

Делать больше нечего, и Добров смотрит в окно. Даже со второго этажа хорошо видны следы каблучков на размягшем от зноя асфальте. В аудитории душно. Толстый седой экзаменатор сидит без пиджака. На его шелковой голубой рубашке видны темные пятна от пота.

Невысокая милая девушка с гладко причесанными светлыми волосами и вздернутой верхней губкой без запинки рассказывает об отмене крепостного права. Затем, почти без паузы, она переходит к Борису Годунову и рассказывает о нем так же бойко и уверенно.

Неожиданно экзаминатор перебивает ее:

— Скажите, в каком году погиб царевич Димитрий?

Девушка хочет ответить, но запинаяется, краснеет и опускает голову. Видно, она забыла.

Доброву мучительно хочется ей подсказать, но преподаватель, как назло, смотрит в его сторону.

Михаил убежден, что экзаминатор специально «режет» девушку, и называет его про себя «варваром» и даже «хазарином».

— Ну, что ж, продолжайте,— просит девушку преподаватель.

Она продолжает уже неуверенно, часто останавливается, повторяется, мнет в руках платочек и вытирает им лоб.

Преподаватель ищет на столе ее экзаменационный листок и, найдя его, внимательно разглядывает сквозь толстые очки в роговой оправе.

— Да у вас тут все пятерки. Что ж это вы по истории так слабо, Наумова, а?

Девушка медленно отходит от стола.

— Ш-што?— шипит сидящий у двери юноша в военной гимнастерке.

Девушка показывает ему четыре пальца и выбегает в коридор. Оттуда доносятся ее всхлипывания. Затем дверь закрывается за новым человеком, и ничего уже не слышно.

Теперь его очередь... Добров садится за стол экзаминатора и начинает...

Рассказывает он очень подробно, стараясь как можно дальше отодвинуть момент, когда придется переходить к проклятым хазарам. Авось, не спросят...

Расчет оказывается верным. Экзаминатор смотрит на часы, а Добров, еле сдерживая торжествующую улыбку, начинает подробно рассказывать, что написал о Луи-Наполеоне Сергеев-Ценский. Он еще не дошел до начала Крымской войны, а ведь о ней можно совершенно спокойно говорить хоть до второго пришествия...

И уставший преподаватель не выдерживает.

— Довольно,— обрывает он Доброва.— Что у вас еще там? Хазары? Скажите, чем они занимались?

— Скотоводством, земледелием, торговлей, рыболовством. Иногда совершали набеги на окрестные народы, в том числе на восточных славян, и брали с них дань. Впрочем, славяне не оставались в долгу. В начале десятого века князь Олег...

— Хорошо. Хватит. Назовите города хазар.

— На Волге Итиль, столица каганата, на Дону Саркел. Это были крупные торговые...

— Хорошо. Ваша фамилия...

— Добров,— подсказывает Михаил.

— Да, да.

Преподаватель находит экзаменационный листок и выводит в нем жирное «отлично».

Доброва как будто вихрем выносит из аудитории, из института и несет неизвестно куда по улице. Это четвертая пятерка. Двадцать баллов из двадцати возможных!

Теперь он, конечно, будет принят...

Неожиданно Добров оказывается на берегу Оби. Да, впрочем, оно и понятно. Куда же ему еще идти?..

Родных у него не было. Домом ему был теплоход «Байкал», на котором он работал радистом. Сейчас «Байкал» ушел вверх. В его рубке с наушниками на голове сидит рыжий Степан и, наверно, решает кроссворд в свежем «Огоньке». А вот Михаил кроссвордов не любит и разгадывание их считает пустым занятием. Если уж есть время — лучше читать. Впрочем, теперь целых пять лет придется только читать и наверняка захочется разгадывать кроссворды.

Через два дня Добров встретит здесь, на этом берегу, свой «Байкал» и еще раз проплывет на нем на Север и обратно. Последний рейс... А потом он — студент...

Интересно, пройдет ли по конкурсу эта хорошенькая Наумова? Кажется, четверка у нее одна, остальные — пятерки... Хорошо бы прошла! Она, бедняжка, так волновалась перед экзаменом... Ходила по коридору и причитала:

— Неужели я провалюсь? Что же тогда будет с мамой? Что будет с мамой?

В тот момент девушка казалась Доброву смешной, и он даже хотел спросить ее, для кого она поступает в институт — для себя или для мамы? Мама ее представлялась ему толстой и истеричной.

А сейчас Михаил почему-то подумал, что мать Наумовой — наверно, старая женщина. И денег у них, конечно, не хватает. Одета Наумова в блузку, которая явно перешита из чего-то старого. Часов у нее нет. Тут бы другая мать дочку работать послала, а эта посылает в институт. И если не пройдет она сейчас по конкурсу, то это горе, трагедия, особенно для матери...

И не пройти-то она может из-за пустяка. Подумаешь, забыла одну дату... А этот толстяк уж и придрался. Ну, что он понимает? Ведь она историю наверняка знает лучше Доброва, а получила четверку. Где ж справедливость? А еще говорят, что в институт принимают тех, у кого более глубокие знания!.. Видно, ерунда это... Более ловких принимают... Добров, как и всякий речник, привык выходить сухим из воды, вот и сейчас вывернулся. Сумел обмануть, хапнул пятерку... А Наумова не сумела...

Да и кого он, собственно, обманул? Разве этого толстого учителя? Ему-то что — он институт кончил. Ему в душе, наверно, все равно, кто будет учиться — Добров или Наумова... А

вот Наумовой не все равно. Выходит, Михаил обманул Наумову и теперь займет ее место...

Если бы Добров понял, что обманут только экзаминатор, угрызения совести, возможно, не мучили бы его. Но он не мог спокойно думать о том, что обманул эту маленькую стройную девушку с таким доверчивым лицом. Обмануть ее — значит совершить подлость. И, как это ни печально, он совершил ее.

Слово «подлец» всегда казалось Михаилу таким далеким и чужим, что он не мог даже представить себе, как будет разговаривать или просто находиться рядом с подлецом. Наверно, это очень противно. И вот на тебе — сам...

А как, собственно, люди становятся подлецами? Вот, видимо, так и становятся. Простят себе вначале одну подлость, маленькую, потом другую — побольше, потом третью... А там, глядишь, и на твоей совести столько накопилось, что отступать уже некуда, и остается только делать подлости дальше. Все равно, семь бед — один ответ...

Нет! Прощать себе подлостей нельзя — ни одной, даже самой маленькой. Иначе далеко зайдешь... Лучше стать студентом на год позже, но не бояться, что кто-то может плюнуть тебе в лицо. Ведь студент-подлец — все равно подлец...

Да и что в конце концов изменится, если Михаил поступит в институт на год позже? Ему только двадцать три... Спешить некуда! Поплавает еще навигацию — новым костюмом обзаведется...

Придется сказать капитану, что он не прошел по конкурсу. Добров усмехнулся. На «Байкале» этому обрадуются. Его любят... Разве только рыжий Степка состроит кислую физиономию. Он уже спит и видит, как его назначили старшим радистом вместо Михаила. Ну, ничего, пусть наберется терпения и еще годик подождет...

Приняли бы только эту милую Наумову! В будущем году он все равно с ней познакомится. Интересно, какая же у нее все-таки мать?

Сидя на горячем каменном парапете набережной, Добров докуривает последнюю папиросу и бросает ее с обрыва. Затем поднимается и идет к институту.

...Возле аудитории уже никого нет. Экзаминатор спрашивает последнего. Добров ждет... Видно, у этого парня не пятерка — он медленно выбирается из аудитории и, опустив голову, плетется по коридору. Еще одна «утраченная иллюзия»...

Добров решительно входит.

Не поднимая головы от бумаг, экзаминатор усталым голосом говорит:

— Почему так поздно? Берите билет...

— Простите, я не за этим...

Экзаминатор с удивлением смотрит на него.

— Ах, да! Вы уже отвечали... Ну, так зовите, кто там еще остался в коридоре...

— Там никого нет.

— Уже все? Очень хорошо!

Он начинает торопливо убирать со стола.

Михаил с минуту стоит молча. Потом неожиданно для себя выпаливает:

— Я вас обманул. Снизьте мне отметку!

Преподаватель поворачивается и ничего не понимающим взглядом смотрит на Доброва. Глаза его за толстыми стеклами очков кажутся очень большими и страшными.

«Сейчас двойку вкатит»,— думает Михаил.

— Как это обманули? В чем?

— Я не знал хазар. Мы их не проходили, и в программе их нет.

— Значит, шпаргалка?

— Нет, что вы! «Песнь о вещем Олеге»...

— При чем здесь «Песнь»?

— Я ответил хазар по этой «Песни» и по карте...

И Добров подробно рассказывает, как он выводил из строк Пушкина свои «факты» и как собирался строить на них ответ.

— Это очень интересно,— говорит преподаватель.— Очень оригинально. Так чего же вы хотите?

— Исправить отметку. Она несправедлива.

— Вам мало пятерки? Я, право, не понимаю, зачем вы пришли?

— Да я, по правде, и не пришел бы,— говорит Добров,— если б знал, что вы примете ту девушку, что передо мной отвечала... Наумова, кажется. А так она из-за меня может не пройти...

— Ах, вот оно что...— разочарованно протянул экзаменатор.— Ну, знаете, за девушками можно ухаживать и тогда, когда они не учатся в вашем институте. Очень многие именно так и делают...

— Да причем тут это!— с досадой махнул рукой Добров.— Я ж ее совсем не знаю. Просто не хочется быть подлецом...

— Даже подлецом?— с улыбкой переспросил экзаменатор.— Послушайте, вы кем работаете?

— Радистом. На реке.

— А... Ну, тогда понятно. На воде еще сохранилось подобное рыцарство... Так вот, молодой человек! Ступайте спокойно домой и не думайте ни о каких подлостях. Если вы смогли по стихотворению Пушкина определить жизнь хазар, значит, вы умеете думать. Для института главное это. А вы зубрить и дурак сможет... Да... Зайдите в приемную комиссию. Там должен быть адрес этой девушки. Говорят, для находчивых людей этого достаточно... Желаю успеха...

Уложив бумаги в кожаную папку, преподаватель вышел из

аудитории. Добров понуро поплелся за ним и подумал, что со стороны он, наверное, выглядит не лучше того парня, что вышел с экзамена последним.

На улице из какой-то заблудшей тучи лил дождь. В подворотне институтского здания среди столпившихся людей две девушки бойко торговали мороженым. Добров тоже купил себе вафельный стаканчик и лениво обкусывал его, задумчиво глядя на косые струи дождя.

Ему представилось, как маленькая Наумова стоит сейчас дома у окна, смотрит на этот же самый дождь и плачет. А где-нибудь в глубине комнаты, на продавленном, облезлом диване, опустив голову на руки, сидит ее мать.

1.1 1961 г.
 Новая цена
 25 руб.

СОДЕРЖАНИЕ

Лариса ФЕДОРОВА. Ранний снег	3
Человек с прошлым	13
Высокая вода	31
В. ВАСИЛЬЕВ. Мостик	41
Петр ГОРБУНОВ. Герани цветут не переставая	46
Оленька	60
Н. ПОЧИВАЛИН. Дома	71
М. СЫРОВА. Прыжок	79
Фальшивая нота	85
И. ДАВЫДОВ. Алтайская сказка	92
Некогда	97
«Песнь о вещем Олеге»	101

НАШИ РАССКАЗЫ

Редактор К. И. Ткаченко. Обложка худ. М. С. Рогожнева
 Техн. редактор Л. Т. Овечкин. Корректор С. И. Михеева

Подписано к печати 18/VII-57 г. Формат 60 x 92 1/16
 3,75 печ. листа, 6,2 уч.-изд. листа Тираж 15 тыс. экз. РД 02461.
 Заказ № 3283.

Типография № 1, Тюмень, Первомайская, 11.

Цена 2 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

